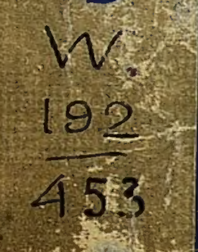
Г. ВЕНУС.

Война и люди



ГЕОРГИЙ ВЕНУС

ВОЙНА И ЛЮДИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО 1926

ГЕОРГИЙ ВЕНУС

ВОЙНА и ЛЮДИ

СЕМНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ С ДРОЗДОВЦАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

Гиз № 11779.
Ленинградский Гублит № 2155.
$14^{1}/_{4}$ л. Отпеч. 4.000 экз.

ЧАСТЬ I

(июнь 1919 — ноябрь 1919).

...Прошло еще несколько дней. На северную окраину Харькова со стороны Сумского шоссе налетели казаки, обошедшие расположение красных. Потом казаки вновь скрылись, и несколько дней в городе было тихо.

Но вот пали Изюм и Змиев. Над городом появились аэропланы белых. Бесконечные обозы потянулись по улицам.

11-го июня обозы запрудили все переулки. 12-го под утро, когда под Харьковом загудела артиллерия, они метнулись к северу, а к полудню того же дня в Харьков вошли «добровольцы».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИЗ ХАРЬКОВА.

— И повезло же вам, прапорщик!

— А в чем?

— В том, что вы не попали в офицерскую роту, в наш, так сказать, дисциплинарный...

Мой отделенный, прапорщик Дябин, быстро докуривал.

— Сейчас двинемся... Увидите, как через день гнать их будем. Эх-ма!.. Поддавай пару!..

Два батальона 2-го офицерского имени генерала Дроздовского полка выступали из Харькова.

Я был зачислен в 4-й взвод 4-й роты, которой командовал капитан Иванов, немолодой офицер, с холеной черной бородкой. Когда, прибыв в роту, я думал подойти к нему и представиться, мой взводный, поручик Барабаш, меня остановил:

— Прапорщик, забудьте, что вы офицер. У нас чужими руками жар не загребают. Повоюйте-ка на положении рядо-

вого. Потом иначе говорить будем. А пока идите и прочистите винтовку.

Кажется, я даже вспыхнул:

— Мне, поручик, напоминать об этом не нужно.

Я подошел к козлам, поднял винтовку и вынул затвор.

Затвор блестел.

В 4-м взводе на положении рядовых было, кроме меня, еще несколько вновь поступивших офицеров. Мы еще не имели права носить форму Дроздовского полка, малиновые бархатные погоны и фуражку с малиновой же тульей и белым околышем; старые офицеры, особенно «Румынского похода», нас как-то не замечали, и мы чувствовали себя не совсем на месте. В казарме мы жались возле стен. Играли в углах в карты. Но вот игральные карты легли на самое дно вещевых мешков. На выбеленных стенах остались надписи. Всякие. От лирических до трех-этажных. . .

— Молодэньки яки! . . — вздыхала у ворот женщина в рыжем платочке. — А яки с их. . .

Дальше мы не слыхали. Батальоны грянули песню.

* * *

. . . Над городом палило солнце.

— Скорей бы в вагоны. Жарко! . . — терял терпение прапорщик Дябин.

Прапорщик Морозов, мой сосед в строю, вытирал с лица черный от грязи пот. — Ну, и солнце, господи! — и вдруг улыбаясь, он поднял лицо кверху.

Прапорщик Морозов, студент харьковского университета, призванный во время войны, поступил в Дроздовский полк тоже только в Харькове. У него были голубые глаза, на которых тяжелыми складками лежали густые русые брови. Под тяжестью этих бровей глаза его казались глубокими и суровыми. Но теперь, когда, улыбаясь, он поднял их на окна, сплошь усеянные любопытными, они стали вдруг большими и восторженными.

— Коля, пиши! . . — Его провожала жена. — Коля, милый. . . — Она приколола к его фуражке белую розу. — Милый. . . Мой милый воин! — Потом, отойдя на несколько шагов, остановилась, любовно оглядывая его с головы до тяжелых солдатских сапог. — Возьмите, прапорщик, и вы. . . Пожалуйста! — уже мне сказала она, протягивая вторую розу.

Я воткнул розу в ствол винтовки.

— Смир-р-на! — скомандовал вдруг капитан Иванов, сразу же оборвав наши разговоры. — На пле-чо! Шагом марш!

Первыми от нас отскочили мальчишки, за три дня расплодившиеся продавцы цветов. Жена прапорщика Морозова замахала платком. Побежала за взводом. «Ура» — загудела разодетая толпа, густой стеной двинувшись вслед за нами. В толпе я увидел нашего соседа, студента Девинэ, бывшего начканснабдива, еще недавно носившего на груди большую красную звезду. Девинэ, спотыкаясь, тоже бросился за ротами. За ним, размахивая поднятой рукой, бежал мой, только-что подоспевший дядя. Пэнснэ дяди блестело на солнце. Рот его был открыт. Очевидно, дядя также кричал «ура».

Я улыбнулся.

* * *

— Сегодня я отдал приказ итти на Москву! — объявил день перед этим с Павловской площади генерал Деникин.

— На Москву!

— На Москву!

— Спаса-ай-те Москву-у! — кричала обступившая нас толпа, бросая в воздух цветы и белые платочки.

Батальон подходил к вокзалу...

— Первая рота... Вторая...

— Первый вагон... Третий... — уже на перроне кричали ротные и взводные.

Железнодорожники встретили нас хмуро. Смазывая колеса, они исподлобья переглядывались и, кажется, ворчали.

...Вдоль полотна бежал дым, — назад, все назад... Сквозь дым я видел, как бегут мельницы. Те, что около путей, бежали от нас. Что дальше, на горизонте, — с нами.

— А куда этот путь?

— На Готню, кажется.

Прапорщик Морозов лежал на полу. Роза над его кокардой качалась в такт бегущих колес.

— Прапорщик Морозов!..

— Ну?

— Прапорщик Морозов. . . Как у вас. . . Чорт возьми, как хорошо у вас на Украине!

— Да, хорошо. . . И, не вставая с пола, прапорщик Морозов протянул руку и шире раздвинул дверь.

Мельницы за дверью все быстрее махали крыльями. Перед дверью, верхом на скатках шинелей, сидели вольноопределяющиеся Нартов и Свечников.

— Ну, а скажите, как они? . . Упорно сопротивляются?

Нартов, бывалый доброволец, казалось, не был расположен к разговорам.

— Когда как. . .

— В конце концов это все равно! — Свечников сдвинул со лба гимназическую фуражку, вынул новый кожаный портсигар и закурил. — Как бы ни сопротивлялись, к осени мы будем в Москве. — Он затянулся, но вдруг покраснел и закашлялся.

Курить он еще не умел.

За Свечниковым, ни с кем не вступая в разговоры, лежал бородатый вольноопределяющийся Ладин, мобилизованный на улице Харькова.

Кажется, с первого дня пребывания в полку, Ладин еще не сказал ни одного слова.

— Лежит, как глыба, молчит, как рыба, — склоняясь над ним, шутил унтер-офицер Филатов, полуинтеллигент, любивший удивлять солдат рифмованной речью. Солдаты засмеялись. Звонче всех засмеялся Миша, 16-летний кадет-доброволец, первый весельчак в роте.

В заднем углу теплушки вполголоса пели.

— Ура! Дрозды! . .

— Дроздовцы приехали! — так встретил нас Сводно-Стрелковый полк, когда наш эшелон подошел к какой-то маленькой, затерянной в степи, станции.

— Ну, раз дрозды прилетели! . .

— Дрозды уж заклюют! . .

— Теперь вперед, значит. . .

Мы уже вышли на платформу и строились вдоль вагонов.

* * *

— На Грайворон, очевидно, — сказал прапорщик Морозов, когда роты двинулись вдоль широкой пыльной дороги.

Белые халупы, прячась в садах, ласково дымили в небо. Из халуп выходили крестьяне. Они провожали нас бесцветными, вылинялыми глазами и упорно молчали. Бабы около заборов вполголоса причитали.

— Мы идем на юго-запад, а Грайворон к северу будет. . .

— Вы правы. — На мгновение прапорщик Морозов потерял шаг. — Пожалуй, выйдем на Богодухов. Но вот не понимаю я в таком случае, отчего мы не пошли по линии на Сумы?

— Маневры, господа, — обернувшись к нам, сказал прапорщик Дябин. — Мы, добровольцы, маневрами побеждаем. . . Здесь выйдем, там срежем, тут отбросим и стопчем. Ведь не силою берем. До сих пор, по крайней мере, не силою же брали.

— Духом. . . — пробасил Свечников.

Горизонт чернел.

Войдя в интервалы между 2-м и 3-м взводом, запевалы ухарски заломили фуражки.

— Ну, а чего петь-то будем? . .

* * *

Хлестал дождь. . .

— Мы жи - ве - ем среди по - о - ле - ей —

— высокими голосами играли запевалы, —

И — — — ле - со - ов дрему - у - у - у - чих,
Но счаст - ли - вей, ве - се - лей —
Всех вель - мо - ож могу - у - у - чих! . .
— Эй, дроздовцы, эй, дроздовцы — —

— подхватывала рота, —

Жи - во, жи - во, живо ве - се - ле - ей
Ей!
Живо, жи - во,
Живо, ве - се - лей! . .

Дорога вилась и кружилась. — Правое плечо вперед. . Марш! . . — И, сойдя с дороги, мы взяли напрямик, и через зреющую рожь пошли к какой-то далекой деревне.

ПЕРВЫЕ БОИ.

Мокрая густая темнота ползла по кустам. . .

— Курить в кулак! Не зажигать спичек! Прикуривай друг у друга! . .

Совсем близко от нас шел бой. Первая, вторая и третья рота наступали на Богодухов.

— Заварилось... Только сейчас, господа, заварилось по-настоящему!.. — Нартов сидел на корточках и запихивал травою дыру в сапоге. Над Нартовым стоял Свечников. Он дрожал мелкой дрожью. С козырька его фуражки стекала вода.

— Эх, дрозды, дрозды! — ворчал прапорщик Дябин, прислушиваясь к гулу красной артиллерии.—Зазнались дрозды!.. Без батарей... С одними винтовками вышли... Так и споткнуться не трудно... Чорт!.. Море нам по колена!..

Он сплюнул.

Дождь бил по листьям, выбивая барабанную дробь. Нартов присвистывал.

— Ничего, ничего!.. Не в первый... Не спотыкаться, — не бегать... Выбежим!

Через минуту нас построили.

* * *

... Под ногами хлюпала вода.

— Держи интервалы!.. Цепь спокойней!.. Цепь — чорт дери! — Держи интервалы!

Капитан Иванов вводил роту в прорыв между 2-й и 3-й, которые медленно отступали от Богодухова. 4-й взвод, еще не привыкший к боям, шел, ломая равнение, крутыми зигзагами.

— Не пригибаться! Не пригибаться, трусы! — кричал капитан Иванов, следуя за ротой с наганом в руке.—Цепь...

Диким вихрем над головой взвизгнули первые пули. Кто-то вскрикнул и упал.

— Вот они! Вот! — закричал Свечников. — Обходят!..

— Не ори! — Нартов грыз семячки, а потому шамкал, как беззубая старуха.

— Не ори, дурак!.. Наши это... Во-ин!...

Было темно. Темнота под пулями визжала. Дождь бил в спину.

Наконец, вторая и третья роты поровнялись с нами. Мы также стали отходить.

* * *

. . . Отступая, мы отстреливались.

— Спокойней! Так! Так! Еще спокойней! — сдерживал 2-е отделение прапорщик Дябин. — Следите, прапорщик. — Он подошел ко мне. — Ну, и бьют же! Следите. . .

И вдруг глаза мои чем-то захлестнуло, и чья-то винтовка, ударив меня в локоть, полетела мне под ноги.

. . . Черные силуэты солдат шли пригибаясь.

— Отделение, слушать мою команду! — кричал я, снимая наган с прапорщика Дябина.

Верхняя часть его черепа была снесена.

* *
*

Все больше и больше снижались пули. Нартов ворчал. Шел угрюмым шагом, опустив винтовку штыком до самой земли. По нем равнялась вся цепь. Я был обрызган кровью и мозгами отделенного. Вытирая лицо рукавом, быстро пригибал голову, самого же себя обманывая: «Ну, конечно, не трушу. . . Пригибаюсь? . . Ну, конечно! . . Но кровь. . .»

— Эй, не бежать! . .

Из-под обстрела красных мы вышли только через полчаса.

Дождь больше не падал. Из-за туч выгрызалась луна.

Замыв пятна крови и мозга, я повесил гимнастерку на ротной кухне и медленно шел к бараку какой-то экономии сахарозаводчика Кенига, в которой — на ночь — был расположен наш батальон.

Под стеной барака сидело несколько солдат 2-ой роты.

— А чорт их разберет, хохлов этих! . . Молчат, и сло́ва не скажут. . . — говорил маленький рыжий солдат с запрокинутым вверх носом. — В городах, там подходяще встречают, — это верно, — а эти вот — волками глядят. . . Ну — и не поймешь, — рады ли, нет ли. . .

— А чему радоваться? . .

— Ты, слушай, язык подвяжи! . . — угрюмо вставил третий солдат. — Не у красных. . .

Разговор оборвался.

— Гляди, пленного ведут. Ишь, длиннорылый! Наш это, — из кацапов будет!

Из штаба батальона вели пленного ординарца, в темноте подъехавшего к нашей цепи.

Пленный шел, опустив голову, и угрюмо смотрел на дорогу. Через минуту за бараком раздался выстрел.

* * *

«Пойду за гимнастеркой — и — спать!», — решил я, соскакивая с забора.

Прапорщик Морозов сидел возле кухни, держал между коленями котелок и деревянной ложкой хлебал черный густой кофе.

— Мне, прапорщик, кажется. . . — начал было он, но вдруг почему-то вновь замолчал. — Хотите?

Я сел рядом с ним и взял котелок и ложку.

Опять стал накрапывать дождь. Прапорщик Морозов поднял голову и снял фуражку. Увидя над кокардой смятый стебелек уже осыпавшейся розы, он отцепил его и бросил на землю.

— Знаете, о чем я думаю, прапорщик? — спросил он, помолчав. — Думаю вот — отчего с прицела 12, 10, 8 или с 6-ти, хотя бы, стрелять, очевидно, легче, чем в упор. . .

— То-есть как это?

— Да так. . . — И прапорщик Морозов замолчал.

В темноте за бараком вновь раздались три выстрела. Кашевар над котлом быстро поднял голову:

— И завсегда так! — сказал он, всыпая в котел красные бураки. — Как малость не повезет, — всех расстреливают. Эх, и борщ будет! . .

Я взял гимнастерку и пошел в барак.

Длинный ряд нар убегал в темноту. На них лежали солдаты, друг возле друга.

С трудом отыскав место, я разостлал шинель и снял сапоги.

«Надо высушить. . . Завтра утром опять на Богодухов. Ноги запреют. . .»

Вода с толстых английских носков ручьем текла на пол. Потом стала падать каплями. Реже. . . Еще реже. . .

Я положил сапоги к голове, носки — на голенища, и закрыл глаза. Влажный холод шинели сочился сквозь гимнастерку. «Чем? . . Чорт возьми, да чем это знакомым таким пахнет моя мокрая шинель?» Я стал вспоминать.

И вот в грязном бараке, в темноте, вдруг, под электрической лампочкой в пять свечей, что когда-то горела в нашей

кухне, увидел я лохань и в ней Топсика, нашу комнатную собачку. Топсика мыли, — а он, мокрый, — уже не лохматый, как всегда, а гладкий и блестящий, — покорно стоял в лохани и тряс рыжей шерстью. Вот так же (вспомнил!), так же вот пахла его мокрая, рыжая шерсть. . .

«Топсик, хочешь сахару? Топсик, нельзя! . . А-ну — раз, два, три! — можно! . .»

Я ворочался, толкая Филатова, моего соседа.

«Заснешь ли, чорт дери, когда довспоминался до дома, до Топсика, до сахара, до. . . до. . .»

— Дьявол!

Я вновь поднялся и стал смотреть в темноту.

Темнота, грузная и тяжелая, лежала в бараке, мохнатой спиной до самого потолка. «И солидно же строил этот Кениг! . .» Барак вмещал весь батальон: наша, 3-я, 2-я и, наконец, совсем впереди, 1-я рота.

Кто-то у противоположной стены зажег свечу.

«Пойти побеседовать? Сна все равно нет».

Ступая босыми ногами по жидкой, холодной грязи, я пошел на свет.

* * *

На нарах, по-турецки поджав ноги, сидели подпоручик Сычевой и прапорщик Юдин, — первой роты. Они пили коньяк, — прямо стаканами. Глаза подпоручика были прищурены. В русой бороде путался свет свечи. Юдин, офицер послабее, был уже пьян. Он быстро шевелил губами, пытаясь поймать край стакана, но стакан в его руке качался и выплывал из-под губ. Юдин целовал воздух. Сердился.

— Добрый вечер, господа.

— Садитесь, прапорщик, пейте. Коньяк, скажу я вам! Три глотка, и с каблуков долой. Ей-богу!

Мне было холодно. — Согреться, что ли? — Я выпил залпом полстакана. Теплота потекла по телу. Дошла до пальцев застывших ног. Я сел на нары, пытаясь пальцами ног поднять с пола соломинку.

— А по какому случаю, господа, 1-я сегодня угощает?

— Без всякого. Вам всё по да по. . . «Попо» — по-немецки. . . Впрочем, вы и сами знаете, — ведь из немцев, кажется? А ну, налить?

Я отказался. — Вот папиросу, если не промокли. — Подпоручик Сычевой вынул небольшой серебряный портсигар, и я заметил на нем след осекшейся пули.

— Здорово отскочила! Когда это? А?

— Если б раз, — я бы не хвастался. — Подпоручик Сычевой гордо щелкнул о портсигар пальцем. — Кого молитва, а кого эта вот штука спасает... Верно, хоть и не убедительно!.. Мой талисман...

* * *

На потолок, сквозь открытые ворота барака, вползал желтый свет зари. Батальон еще спал.

«Отчего не подымают?» — я сел и потянулся за сапогами. Но на соломе, дырявыми пятками кверху, лежали одни носки.

— Дежурный!

— В 4-й роте за время дежурства происшествий никаких не случилось...

— Спал, сонное твое рыло? Где сапоги? Где, говорю, са-по-ги?

Дежурный тыкался под все нары. Перебирал грязные носки и порыжелые, протлевшие насквозь, портянки. Даже разбудил почему-то одного из солдат, Степуна, самого порядочного и честного.

— Где сапоги господина прапорщика?

Тот бессвязно замычал. Поднял голову и тупо заморгал глазами. Потом вновь упал на нары и захрапел.

— Ищи! Давай сапоги! Где сапоги?

Но в это время в барак вбежал связной батальонного:

— Подыма-ай!

— 4-я рота, вставай! — закричал, отбегая от меня дежурный.

— Третья, вставай! — подхватил дежурный соседней роты.

— Вторая...

— Пер-ва-я...

Было уже не до сапог.

* * *

Я стоял на правом фланге отделения, в толстых серых носках, из дыр которых торчали грязные пальцы.

— Ничего, господин прапорщик, — успокаивал меня фланговой, всегда веселый и находчивый Миша. — С первого

убитого снимете. Я бы вам свои дал, да нога у меня, как у девочки, маленькая.

— Сми-р-на! Равнение — на-право. Господа офицеры!

На дороге показался капитан Туркул, наш батальонный. Усмехаясь в густые черные усы, он браво сидел на коне, за которым, медленно переставляя кривые лапы, следовал его бульдог, — разжиревшая в заду сука.

— Вот что, ребята, — сказал батальонный, придерживая лошадь. — Сегодня мы вновь наступаем. Уж вы постарайтесь. Чтоб им ни дна, ни покрышки — красным!..

«Заметит или нет?» — думал я, косясь на полубосые ноги. Но капитан Туркул ничего не заметил.

— Ведите! — сказал он командирам рот. — По отделениям...

* * *

Полдень. Наша рота, рассыпанная в цепь, двигалась по полю. Мои ноги были в крови. Носки болтались рваными тряпками. Я шел прихрамывая.

Слева от нас двигалась третья рота. Справа — пятая. Очевидно, оба батальона шли в цепи. По всему полю были рассыпаны конные — связные и ординарцы. На горе перед нами, на расстоянии двух-трех верст, виднелся Богодухов. Очевидно, город когда-то был богомольным. В городе было много церквей. Самих церквей не было еще видно. Их белая окраска тонула в волнах голубого теплого воздуха, но круглые купола, точно шары, подвешанные под небо, ловили лучи солнца, — сверкали и блестели...

Стрельбы не было.

Высоко в небе кружился ястреб. Суживал и суживал круги. Я запрокинул голову, наблюдая за его полетом. Вдруг голова быстро нырнула в плечи. Над ней пролетел сноп звенящих пуль.

— Цепь, стой! — скомандовал ротный.

* * *

Пули летели высоко. Поражения еще не было. Я чувствовал боль в ногах. Мне казалось, — по ступням, повернутым к солнцу, сотнями бегают муравьи. Я повернулся с живота на бок, подогнул ближе к себе колени и лежал так, полуоткрытым с обеих сторон, перочинным ножиком. Потом

достал носовой платок, плюнул и стал вытирать кровь между пальцами.

— Прицел десять!—в кулак, как в рупор, закричал командир роты.

— Десять! — повторил поручик Барабаш.

— Десять — крикнул за ним я, бросая платок и вновь заряжая винтовку.

Позиция красных была обнаружена. Она тянулась за картофельным полем, вдоль узкой, заросшей травой канавки. Но и красные опустили прицел. Двоих из нашей роты ранило. Один уже уползал в тыл, быстро, как плавающая собака, перебирая руками. Дальше, в кустах картофеля, другой, обняв колени, качался, как «ванька-встанька», и высоко, по-бабьи кричал.

— Прицел восемь! — командовал ротный.

* *
*

С новой силой заработали пулеметы. Над канавкой, где залегли красные, заплясала бурая пыль.

— Господин прапорщик! Сейчас, сейчас драпнут! — закричал Миша. — Ну, и бьют пулеметчики! . . — Он выполз вперед и, приподнявшись на локтях, стал смотреть перед собой. Вдруг, круто, по-кошачьи, выгнул спину, на минуту так, мостом, застыл и грузно рухнул. Его фуражка полетела на землю. Вот еще раз взлетела она в воздух. Козырек, отскочив, полетел в сторону. И снова, в третий раз, взлетела фуражка. Ну, и чорт! . . Здорово! . . Какой-то далекий пулемет играл ею, как мячиком.

«. . . Нога у Миши. . . Нет! . . Не подойдут. . .» — думал я, вновь пряча ступни от солнца. Потом вновь поднял голову. Лежащих солдат я не видел. Видел лишь сапоги, каблуками ко мне, над ними — края фуражек.

* *
*

. . . Соседняя 5-я рота далеко перебежала вперед. Потеряла с нами живую связь. Сейчас или поможет нам, открыв по участку красных фланговый огонь, или сама будет с фланга обстрелена. Тогда — беда! . . Но капитан Туркул уже подтянул правый фланг нашей роты.

— Бегут! Бегут! — закричал Нартов.

Мы вскочили и пошли, вскидывая в плечо винтовки.

Миша лежал, уткнувшись лицом в землю, скрючив под собой руки. . . Мимо! . .

Уже и левый фланг серпом зашел вперед. Нужно ускорить шаг. . . Кажется, левый фланг даже тронул город.

— Цепь, бегом!

Мы побежали.

— Ура! — кричала рота. — Ура-а-а!

Я бежал, хромая и подпрыгивая. Споткнулся о брошенную на землю винтовку, упал. . .

— Ур-а-а-а! — гудело надо мной. Над головой мелькнула пара чьих-то сапог. Я опят вскочил.

— Четвертая, не отставай! . . Четвертая! — кричал капитан Иванов.

. . . Вот и канава. В ней — куча пустых гильз. Обоймы. Брошенный раненый корчился, как червь под лопатой.

— Снять? . .

Я схватил его за ноги, но он дико закричал, вскинув руки в небо. Я бросил его и вновь побежал. Последним в цепи. . .

Бежал, хромая.

— Эти проклятые ноги! . .

* * *

Под самым городом мы, наконец, замедлили шаг. На окраине остановились.

Горячий от солнца штык обжигал лицо и руки. Но я не подымал головы. Не отнимал рук от штыка. Стоял, прислонившись к винтовке, медленно подымая то одну, то другую ногу. . . Ноги горели.

На белых стенах халупы виднелись следы наших пуль, — серо-зеленые пятна. Из них сыпалась сухая глина. Выше, в тени, под самыми крышами, расползались подтеки. Еще не подсохло. Окна халуп были забиты ставнями. Одно окно — убогого, крайнего домика — было разбито. На подоконнике лежали черепки цветочного горшка и комочек сухой земли. Под окном, корнями вверх, валялся сломанный кустик фукции. Под забором возле канавы издыхала лошадь. Она лежала на спине, подняв кверху неподвижные ноги. Ноги торчали, как оглобли брошенной рядом подводы. Лишь одна нога, передняя, еще дергалась. Била копытом воздух. Дальше, вглубь улицы, под покосившимся фонарем, лежал убитый. На спине его, как горб, вздувалась гимнастерка.

«Вот, наконец, обуюсь!» — подумал я.

Подошел.

Чорт! Он был уже без сапог. . .

Вечером я пошел к штабу полка.

— Идите в комендантскую! — сказал мне адъютант.

На дворе комендантской команды лежали убитые. Плечом к плечу. Их было немного — человек пятнадцать. Миша, как и у меня в отделении, лежал на фланге. Его волосы были взъерошены. Одна прядь, черная от запекшейся крови, падала на лоб. Миша держал указательный палец кверху. Точно слушал что-то. . .

— Вот, прапорщик, пригóните себе обувь! — сказал мне адъютант.

. . . Ноги. Еще ноги. Много, много ног. В сапогах и без. Грязные, запыленные. . .

Я пытливо присматривался: которые сапоги на мою ногу?

Наконец, подошел к одному из убитых. Лица его я не видел. Оно было прикрыто соломой. Я взял его за ногу. (Какая тяжелая нога!). Сапоги слезали туго. Нога уже остыла и в ступне не сгибалась.

— А ну, сильней! Сильнее! — подбадривал меня адъютант.

Я рванул со всей силой. Сапог слетел с ноги. Убитый подался вперед. С лица его сползла грязная, пропитанная кровью солома. Я увидел клочок бороды, пол-лица. Еще ниже сползла солома. . . — Поручик Сычевой, он! . .

— А вы не знаете, где его портсигар остался? — неожиданно для себя обратился я к адъютанту.

— Какой портсигар?

Но мне уже не хотелось разговаривать.

— Портсигар у него был. . . Серебряный.

— Нет, не знаю!

На губах у поручика Сычевого стыл пузырек кровавой пены. Один глаз, плоский и мутный, смотрел прямо на луну. Другой заплыл щекою. Лицо его было распухшее, точно искусанное осами.

Я торопливо стянул второй сапог.

— Благодарю вас, господин адъютант!

— За что это?

Адъютант засмеялся.

Я взял сапоги подмышку и пошел к штабу.

Полковник Румель, командир 2-го офицерского полка, подозвал меня к себе.

— Вы пока остаетесь в офицерской роте. Для сегодняшнего дела в ней недостаток штыков.

И запахнувшись буркой, он отошел в сторону.

На Богодухов, со стороны Кириковки вновь наступали красные. Слева по линии железной дороги стояли роты какого-то, не «цветного» полка, сформированного из пленных красноармейцев.

Наша офицерская рота, рассыпанная цепью у них в тылу, ловила дезертиров.

Меня поставили часовым возле штаба.

Таким образом мне не пришлось итти с офицерской цепью.

Вдали трещали пулеметы. Ухала артиллерия. Было темно. Лишь изредка над крышей вокзала появлялась луна и заливала синими лучами тугие и блестящие полосы рельс.

. . . Прошел бронепоезд.

Я всю ночь простоял без смены. Когда стало светать, меня, наконец, отпустили в роту.

В саду, за сторожкой, в которой был расположен штаб полка, толпились солдаты комендантской команды. В открытую калитку сада входили, ведя пойманных дезертиров, взводы офицерской роты.

— Десятого, господин капитан, аль пятого? — услыхал я за собою.

Я быстро пошел к городу.

. . . Когда, немного отойдя, я вновь обернулся, на крайнем дереве сада уже раскачивались два дезертира.

Солнце как раз всходило. Дезертиры висели к нему спиной. Спины у них были красные.

БОГОДУХОВ—КОРЕНОВО.

Сломив красных под Кириковкой, Дроздовский полк стал продвигаться вперед, почти не встречая сопротивления.

Полк был посажен на подводы. Район сахарных заводов обогатил наши обозы подводами сахарного песку. Весь день, сидя на подводах, офицеры и солдаты держали на коленях котелки и деревянными, расколовшимися ложками усердно взбивали «гоголь-моголь».

Лишь прапорщик Морозов «гоголь-моголя» не сбивал.

— Бегать и клянчить... Ну-у, господа, не очень это...

— Да кто ж клянчит, голова вы садовая?

Не сбивал «гоголь-моголя» и вольноопределяющийся Ладин. Впрочем, его никто в роте не замечал.

2-й офицерский Дроздовский полк развернулся в Дроздовскую бригаду, состоящую из 2-го и 4-го полков. Я остался во 2-м полку, но перешел в 6-ю роту, команду над которой принял поручик Ауэ, старый доброволец. С нами в 6-ю перешли все офицеры и солдаты 4-го взвода 4-й роты, кроме поручика Барабаша, который стал помощником капитана Иванова, а вскоре и сменил его. Капитана Иванова, где-то, кажется под Тростянцом, убило.

Достигший популярности, произведенный в полковники Туркул был назначен командиром нашего 2-го полка. Полковника Румеля я больше не видел. Уже зимой, когда в армии свирепствовал тиф, мне рассказывали, что полковник Румель, — бывший командир Дроздовского полка, — умер, забытым в теплушке какого-то санитарного поезда, и что крысы отъели обе его щеки.

* * *

...По дороге клубилась пыль. Вода во флягах быстро нагревалась. Мы терпели жажду от деревни до деревни. Впереди головной роты шла команда конных разведчиков. Подъезжая к деревням, команда рассыпалась в лаву, а полк, не слезая с подвод, останавливался.

— Послушайте, а где война? — шутил Нартов. — Посюшьте, как говорят гвардейцы...

— Смело мы в бой пойдем
За Русь любимую,

запевал, покачиваясь на подводе, Свечников.

И, как один, умрем,
За неделимую! —

подхватывали идущие с нами эскадроны какого-то гусарского полка.

Мы прошли станцию Смородино, Басы, с двух сторон быстрым налетом взяли Сумы и, на ходу развертываясь в Дроздовскую дивизию, продвигались к Белополью.

Поля были сжаты. На кустах курчавились листы. Лето уже кончалось...

— Пехотным полкам всегда не везет! — ворчал унтер-офицер Филатов, когда, гремя по камням, подводы въезжали в узкие улицы Белополья. — Весь день трясись на подводе, потом последним въезжай в город! Нет, разве не досадно? Проклятые конники позанимали лучшие квартиры!

Мы подъехали к одноэтажному домику с задранной с одной стороны крышей.

— Не изба — конура собачья!.. — Филатов досадливо махнул рукой. — Не жизнь, — с жизнью и примириться можно, — жестянка! — И соскочив с подводы, он вскинул на плечи два вещевых мешка.

— Извольте видеть, своих вещей мало! Ладин еще осчастливил. Один — чудаком, другой — дураком. Чорт!..

На дворе, возле колодца толпились солдаты. Нартов, произведенный в ефрейторы, распоряжался:

— Поочереди! Подходи поочереди!

Он держал перед собой деревянное ведро, обгрызанное с краев лошадиными зубами. Солдаты, не отрываясь, пили медленно, как лошади.

Над дверью хаты висела ржавая подкова. О ступени, крытые пестрым ковриком, терлась желтая собачонка. Собачонка скалила зубы.

— А ну, хозяйка, гостей встречай-ка, — крикнул Филатов, вместе со мною входя в избу.

Через пять минут 1-е отделение уже сидело за столом и пило парное молоко.

— Рожа у хозяйки — овечья, да ничего, ничего: душа зато — человечья! Еще, господин прапорщик?

Солдаты гоготали.

* * *

За окном проходил полк. За подводами, низко по земле ползло облако пыли. Лес штыков, золотой от солнца, был част и ровен..

— Господин прапорщик, взгляните только, как 4-й батальон растянулся! — сказал Нартов, вытирая молоко с безусых, растрескавшихся под ветром, губ. — Взгляните, — мешки с сахаром, и еще — мешки.

— А что? На Украине ведь воюем! — Свечников тоже обернулся к окну. — А вот и апостол! — Он засмеялся. — Смотрите, непротивленца ведут.

За кухнями, на подводе с арестованными, без винтовки и в распоясанной шинели, сидел вольноопределяющийся Ладин. Он смотрел в небо, свесив ноги с подводы.

— Вещевой бы мешок ему снесть. Как никак, ведь пятый день под арестом. Умыться, или что...

Солдаты взглянули на Филатова и, в ожидании очередной шутки, уже приготовились засмеяться. Но Филатов упрямо замолчал.

Стало тихо. Лишь только один стакан звякал о горшок. Это Свечников опять уже наливал себе молоко.

* *
*

Было утро... Я сидел на лавке и чинил распоровшийся подсумок. На улице, за открытым окном, гулял петух. Водил за собой трех кур с мохнатыми, как в штанах, лапами. Солдаты дразнили желтую собачонку. Она хватала их за ноги и злобно грызла сапоги.

— Олимпиада Ивановна, ну чего ж печалиться! — сказал я хозяйке, которая, охая и вздыхая, ходила по комнате. — Отнесете часы в починку, и дело с концом.

В первый же день нашей стоянки в Белопольи мы с прапорщиком Морозовым узнали от Олимпиады Ивановны историю всей ее жизни. Радуясь новым людям, Олимпиада Ивановна рассказала нам и про своего мужа, расстреленного каким-то проходившим через город атаманом, и про часы, подаренные мужу в день его 25-летней службы училищным сторожем, и даже про Наташку, девочку свояченицы, что помогала ей, теперь одинокой, по хозяйству.

— А знаешь, старуха на границе помешательства... Вот они — осколки быта, — сказал прапорщик Морозов после беседы с хозяйкой, уходя к себе во взвод. — Видел, как она часы покойника гладит? А сколько... черепков этих.

— Склеим, прапорщик.

— Не всё, брат, клеится; вот что!..

Когда я вернулся к себе в халупу, Олимпиада Ивановна была на кухне. Над открытым комодом в ее комнате стоял Свечников.

— Вы что это тут?

Свечников вздрогнул и быстро зажал в кулаке часы Никифора Степаныча.

— Добровольцев, сволочь, позорить! — И, схватив часы за цепочку, я рванул их. Цепочка порвалась, а часы упав на пол, брызнули на коврик разбитыми стеклышками.

И вот уже второй день аккуратно собранные стеклышки лежали на комоде. Часы не шли...

* * *

...Желтая собачонка за окном жалобно повизгивала. Кто-то дал ей сапогом под живот. Потом солдаты расступились, — очевидно пропуская офицера.

— Олимпиада Ивановна, а есть у вас в городе часовщик?— вошел в комнату прапорщик Морозов.

— А как же, служивый! Есть, как же!.. Зелихман. На Торговой живет.

Прапорщик Морозов вынул бумажник.

Когда Олимпиада Ивановна побежала к Зелихману, мы подошли к окну.

— Выйдем, что ли?

— Эй, крупа! — кричали веселые кавалеристы, колоннами проезжая по улице. — Расступить! Конница идет!

— Мой ход. Мой! — горячился Свечников.

— Не зазнавайся! Валет, брат, что подпоручик, дамских боится ручек... Ход твой, да взятка моя.

Свечников проигрывал.

Прапорщик Морозов размазывал ногой жидкую грязь, нанесенную в комнату сапогами. «И откуда грязь?» — думал я. — «На дворе жара... земля растрескалась...»

— А дома ли тека Лимпиада? — вдруг услыхал я чей-то тонкий, в гул солдатского смеха забежавший голосок.

На пороге стояла девочка. На ней было розовое, — как весенняя черешня, — платье. Коротенькая косичка не свисала вниз, а стояла на макушке, как опрокинутый вверх точкой восклицательный знак.

— Наташка! — догадался прапорщик Морозов и ласково улыбнулся.

— К Олимпиаде Ивановне, милая?

— К тетке.

— А ее нет!

Минутку девочка молчала.

— А у нас на дворе тоже солдаты! . .

— Ну и сказала! По существу! — засмеялся Филатов, взглянув на нее из-за развернутых веером карт. — Из пулемета да бомбой! — ни в село, ни в город, — ни в бровь, ни в глаз!

— Только наши с лошадьми. Конные наши. . . Ну и крику!

— Кто ж, Наташка, кричит? Солдаты?

— Соловейчик кричит, — портной. Солдаты его за бороду таскают. Давай, кричат, деньги, жидовская твоя харя!

Прапорщик Морозов встал. — Я выйду! . .

. . . Я долго глядел на грязные следы, оставленные им в комнате.

Нартов стоял под воротами, положив подбородок на ствол винтовки. Дневалил.

Я вышел на улицу. Ночь была тревожная. Сна не было. На дворе, не раздеваясь, при патронташах и подсумках, спали солдаты. Роту каждую минуту могли поднять и бросить на позицию. Бой подкатился к самому Белополью. Было слышно, как трещат пулеметы. Отдельные ружейные выстрелы раздавались и в городе.

«И кто это стреляет?» — думал я.

Нартов смотрел на восток. По другую сторону улицы бродил дневальный 1-го взвода. Тоже то-и-дело подымал голову. Всех дневальных, всех рот и эскадронов, у белых и у красных, из ночи в ночь мучат те же мысли: скоро ли утро?

Но звезды в небе еще не бледнели. Их золотые потоки скользили вдоль темного неба. Вдоль тишины над крышами скользил ветер. . .

Я уже входил в ворота нашего двора, когда услыхал вдруг тревожный оклик Нартова:

— Эй, Синюхаев, откуда?

Сквозь темноту улицы бежал длинный, тощий вольноопределяющийся 5-й роты.

— Красные под городом! — вот что случилось. . . Да отвяжись! Связной я. Некогда.

И, вскинув под руку винтовку, Синюхаев побежал дальше.

— Синюхаев, эй, Синюхаев! — вновь закричал Нартов. — Да подожди ты! Эй! Что за пальба в городе?

Винтовка Синюхаева звякнула.

— Гусары, — мать их в сердце! — отходят. Часовщика изловили. Кто? Да гусары! Схватили жида за шиворот и мордой в стекло оконное. Ну, бегу. Пальба? Ах, господи! Некогда! Да первый эскадрон по второму бьет. Каждому, чорт дери, часики хочется!

— Эй! Что случилось? — подбежал дневальный 3-го взвода. Но Синюхаев уже скрылся в темноте.

* * *

Светало... Прапорщик Морозов сидел во дворе своего взвода.

— Нет, говорят, отходить не будем, — сказал он, когда я передал ему разговор Нартова с Синюхаевым. — Туркул бросит в контр-атаку. Только что у меня поручик Ауэ был. Из штаба... — На минуту прапорщик Морозов замолчал. — Но я о другом... За Ладина побаиваюсь, — уже тише продолжал он. — В штабе кавардак, — где там теперь возиться!.. Поделом или нет — не нам судить... А жалко!

«И откуда это запоздалое толстовство!» — думал я, вспоминая, как неделю тому назад, вольноопределяющийся Ладин, бросив винтовку на землю, отказался итти в разведку.

«Эх! не поздоровится!..»

По дороге, взбрасывая копытами красную пыль, летел конный ординарец.

— Строить! — крикнул он, и красная пыль за ним понеслась дальше.

Мозоль попала под складку портянки. Хорошо бы переобуться, да где там!

— Реже!

«В бой, — говорил постоянно поручик Ауэ, — рота должна итти как на учение». — Ре-же!.. Ать, два!..

— Мы с тобой не тужим, для веселья служим, — шутил перегнувшись к соседу, унтер-офицер Филатов. — День в карты играем, день по врагу стреляем...

— Оставить разговоры!.. Ре-же! — И поручик Ауэ обернулся ко мне: — Прапорщик, подтяните!

Под моими глазами качалась сутулая спина рядового Бляхина, несколько дней тому назад переведенного к нам из комендантской команды.

«И в ногу ходить не умеет, — думал я, — и штыком болтает...»

— Прапорщик Морозов, — вновь закричал ротный. — Научите Бляхина носить винтовку. На одиночном...

— Ре-же!

Около штаба полка мы остановились.

* * *

Прапорщик Морозов, временно оставшийся за ротного, роты распускать не хотел. Послать к колодцу по одному штыку со взвода...

— За водой! Живо!

Я также пошел к колодцу — переобуться и омыть до крови растертую ногу.

Филатов и еще два солдата, с головы до ног обвешанные флягами, возились над ведром. Наполняя фляги, они топили их под булькающей водой. Но фляги легкими поплавками вновь всплывали кверху, ударяя солдат по пальцам. Филатов смеялся.

Бляхин, посланный от 1-го взвода, бродил немного поодаль, по огороду. Набивал огурцами карманы широких штанов.

— Гляньте-ка, — вдруг крикнул он, склонившись над грядкой, — солдат тут лежит.

Подбородком в землю, под черным саваном мух, разжав брошенные в кровь ладони, у ног Бляхина лежал Ладин. Бляхин пытался заглянуть ему в лицо, гнал мух, толстой корой облепивших небритые щеки расстреленного. Но мухи, сытые и тяжелые, не улетали. Только подымались и, вися в воздухе, лениво и сонно гудели. Филатов снял фуражку.

— Свой ведь, господи! —, перекрестился...

— Свой, говоришь? — Бляхин медленно повернул к нам плоские, как медяки, глаза. — Жаль своего человека... Видно долго человек мучился... А коль не допущать этого желательно, так не в грудь, говорю, — в ухо целить нужно... Боком и — раз! — гладко!..

Рота на дороге уже подравнивалась.

И опять:

— Ре-же!..

На окраине города стоял серый, заплеванный грязью дом, навалившись на дорогу разнесенным крылечком. В пыли под

окном лежали осколки стекла. Над выломанной дверью болталась полусодранная вывеска:

«Починка часов М. Л. Зелихмана».

— Прощайся с часами, Олимпиада Ивановна! Кончено! сказал кому-то за мной вольноопределяющийся Нартов.

— Конники их поочереди носить будут. Во-и-ны! ..

— Во-и-ны! ..

— Оставить разговоры! — бросил из строя Свечников. Нартов посмотрел на него и улыбнулся:

— У петуха — перья, у дурака — форс. . . Эх, ты-и! ..

* * *

За пригорком прыгала ружейная пальба. . . Поручик Ауэ бродил по перрону. Скучал.

— В бой, так в бой! . . нечего! . .

Прапорщик Морозов крутил папиросу за папиросой. Скучал тоже. . . Я вышел с ним на вокзал, где, составив винтовки, расположилась 5-я рота.

— Забавно, ребята! . . — рассказывал Синюхаев собравшимся вокруг него солдатам.—Штаб она, понимаете, ищет. Какой тебе, старая, штаб? . . А она: Главный! . . Да по делу какому? За часами я, служивые! . . Забавно! — Он засмеялся и, сняв малиновую дроздовскую фуражку, стал о колени стряхивать с нее пыль.

— Идемте, ребята! Сейчас старуха к батальонному пошла. У батальонного часы требовать хочет. Давай часы, и никаких гвоздей! К генералам, говорит, пойду! К главным.

— Что? Ну, конечно спятила! . .

— И никто не знает, какие часы, да откуда. . .

— Олимпиада Ивановна! — узнали мы, но пойти к ней не успели.

— В ружье!

Вдоль красных от вечернего солнца рельс шли роты. Впереди рот выростал бугорок. Две березки на нем обрисовывались все яснее и яснее. . .

— Ре-же! — командовал поручик Ауэ. . .

Разбив красных за Белопольем, дроздовцы пошли на северо-восток, — к станции Кореново. Дроздовская бригада

уже развернулась в Дроздовскую дивизию, при чем 2-й офицерский полк был переименован в 1-й стрелковый имени генерала Дроздовского, а 4-й — во 2-й. Команду над вновь сформированным 3-м полком принял полковник Манштейн,— «безрукий чорт», — в храбрости своей мало отличавшийся от Туркула. Он не отличался от него и жестокостью, о которой, впрочем, заговорили еще задолго до неудач. Так, однажды, зайдя с отрядом из нескольких человек в тыл красных под Ворожбой, сам, своею же единственной рукой, он отвинтил рельсы, остановив, таким образом, несколько отступающих красных эшалонов. Среди взятого в плен красного комсостава был и полковник старой службы.

— Ах, ты, твою мать! .. Дослужился, твою мать! .. — повторял полковник Манштейн, ввинчивая ствол нагана в плотно сжатые зубы пленного. — Военспецом называешься! А ну, глотай!

* * *

Перейдя около Кореново линию железной дороги, 1-й Дроздовский полк вновь встретил упорное сопротивление красных, которые бросили в бой матросские части. В первый раз за время моей службы в полку, дроздовцам пришлось окопаться.

. . . Всплыло утро. Над узкой, как Стоход, Снакостью клубился туман. Мы только-что отбили третью за ночь атаку матросов. У меня вышел табак, и пользуясь затишьем, я заполз в окопчик прапорщика Морозова.

— Что ты скажешь? — спросил я, слюнявя цыгарку.

— Хорошо дерутся. . .

— Нет, я не о том! .. Я о Манштейне. . .

Но Морозов не успел ответить. К окопчику подползал рядовой 1-го взвода Степун.

— Господин прапорщик, прикурить разрешите?

Прапорщик Морозов протянул ему огонек.

— Разрешите, господин прапорщик, спросить? ..

— Что, брат?

— Разрешите узнать, правда ли, что Козлов уже казаками занят?

— Да, взят. . . Генералом Мамонтовым.

Степун вздохнул.

— Что это ты? А?

— Моя деревня под Козловом будет...

— Ну?

— Да вот боюсь я, как бы не грабили они, — казаки-то наши...

Вдоль окопчиков полз Филатов. Раздавал патроны.

— Меньше, братва, стреляй. Бери в плен, Манштейну товар доставляй...

Туман за окопами редел.

* * *

Над Снакостью, — перед окопами, — туман рассеялся только в полдень.

Опять — густо, — цепь за цепью, — наступали матросы. Без перебежек, не ложась, шли они по открытой, плоской равнине. Нами был пристрелен каждый кустик, и ближе как на 600 шагов матросы подойти не могли. Но редела и наша окопавшаяся цепь.

Наблюдая за стрельбой своего взвода, я приподнялся из-за окопчика.

— Свечников, головы не прятать! — закричал я, заметив, что Свечников стреляет не целясь, уйдя с головою за бруствер и журавлем колодца выставив вверх винтовку.

— Свечников! Свечнико-ов!

Но Свечников еще глубже ушел под бруствер.

«Ну, я его!» — Я вскочил и пошел к его окопчику.

— Ложись, ложись! — закричал мне прапорщик Морозов. Но было уже поздно. Меня подбросило и с новой силой ударило о землю. Кажется, я вскрикнул.

Минуту я пролежал тихо, следя, как из правой ноги густым потоком струилась боль. Портянка в сапоге намокала. «Надо встать. Добьет...» Но встать я не мог, — раненая нога вновь тянула к земле.

.... — А ну, здоровой подсобите... Так!.. Здоровой ногой!..

Нартов волочил меня в кустарник... За кустарником поднял и, обняв за плечи, повел на перевязочный пункт.

Над бузиной около дороги метались воробьи. Тощая собака в канаве трепала какой-то длинный окровавленный бинт. С заборов сползало солнце.

Я прыгал на одной ноге, правым плечом навалившись на левое Нартова.

* * *

— Не страшно, господин прапорщик! — сказал фельдшер, наскоро сделав мне первязку. — Ранение междукостное... Ну, трогай! — Он положил мне под голову мой надвое распоротый сапог и махнул рукой, подзывая следующую, еще не нагруженную подводу. Наша тронулась.

— Прощай, Нартов! Спасибо! — Некоторое время Нартов шел рядом с нами. — Ну, иди в бой... С богом!..

Подвода пошла быстрее. Раненые застонали.

* * *

...Кажется, мы уже подъезжали к вокзалу. Глаза мои были закрыты. Палило солнце.

— Да говорят не налезай! Пошла вон! — отгонял кого-то возница.

— Мне про генерала, служивые, узнать бы... про главного...

Я открыл глаза.

За подводой, перегнувшись к нам, шла черная от загара и пыли Олимпиада Ивановна...

ЭВАКО-ЗАБОТЫ.

Поезд шел, раскачиваясь...

В Сумах наши три санитарные теплушки включили в состав пассажирского.

— Негодяи! К самому хвосту, — негодяи, — прицепили! Ну и трясет! — ворчал раненый в плечо поручик Бронич. — И солому сменить ленятся... Эй, санитары!

— Господи! бог ты мой!.. Го-спо-ди!.. — Молодой солдат-кавалерист, раненый в живот, шаркал по полу разжатыми ладонями. — Санитар, испить бы!.. Са-ни-тар!..

— Санитар, эй! — подхватил кто-то.

— Санитар!

— Сестра!

— Сволочи!..

В теплушке, кроме раненых, никого не было.

* * *

...Над крышей гремел ветер. Когда на каких-то маленьких станциях поезд останавливался, за черной щелью наших

дверей гудели телеграфные провода. Но вот провода загудели с обеих сторон теплушки.

Мы приближались к Харькову.

В Харькове мы подъехали к пассажирскому вокзалу.

— Испить бы, о го-спо-ди, и-испить!..

— Вот подожди, разгружать будут.

Я подполз к тяжелой двери. Окровавленный и грязный солдат-марковец помог мне раздвинуть ее, и я выглянул на перрон.

Из соседних вагонов выходили пассажиры. Сейчас же за нашей дверью, рыхлая, со всех сторон закругленная дама взасос целовала какую-то плоскую девицу в шляпке с васильками. Мимо них, потряхивая коробкой конфет, пробежал высокий седой мужчина в английском пальто на-распашку.

Два толстяка в пенснэ подзывали пальцами носильщика.

— Господа! позовите врача. Господа, да послушайте!..

К теплушке никто не подошел.

— Э, вы там — с чемоданами! Тыловое сало!..

Наконец вагоны рвануло.

* * *

— Это же — это же — это же, чорт — чорт знает, что такое!.. Мане-врируют!.. Ой, трясет!.. Доктор! Это же чорт... ой, док-тор!..

Поручик Бронич схватился за ключицы, качнулся вперед, но вагоны опять рвануло, и он повалился спиной на солому. Солдат-марковец стоял на коленях. Тоже раскачиваясь, пытался держать перевязанную руку на весу. — А для-ча страдать и маяться? Для-ча это, коль они по справедливости не поступают?.. — ворчал он глухо. — Буржуёв, как водится, повыпускали, а на разгрузку опосля только, мать их в 13 гробов чортову дюжину!

— Го-спо-ди, испить бы!.. О, господи-и-и!

...Поезд разбивали. Наши теплушки подбрасывало и толкало.

— Ах, так! — вдруг не выдержал поручик Бронич. — так?.. — И, выхватив наган, он стал стрелять в потолок теплушки — раз! раз! раз!

— Доктор-р-р!..

Когда на вокзале Харьков-Товарная нас, наконец, стали разгружать, солдат-кавалерист уже не просил пить. На носилки его не положили. Взвалили на плечи.

«Мертвый! . .»

* * *

По разгрузке работали санитары-студенты.

Нога моя ныла. Мне казалось — брезент носилок пропитан кровью, и я закрыл глаза.

— Да вы ли это? Какая встреча! . .

С повязкой Красного креста вокруг рукава надо мной стоял Девинэ. Я взглянул на него, удивленный: — Вы?

— А как же! Работаю. Как же! — быстро заговорил он. — Искупаю, так сказать, вину перед родиной. А вас и не узнать, господи! . . Ваш дядя. . . Да я сейчас же. . .

— И вас не узнать! — перебил его я. — Толстеете? . . Ну, ничего, ничего. . . — искупайте! . . видно впрок вам идет. . .

Желая казаться обиженным, Девинэ заморгал глазами.

Потом нас понесли.

Над освещенной фонарями площадью летали клочья грязных бумаг. Какой-то мальчишка свистел, засунув в рот два пальца.

Город жил своей жизнью.

В палате распределительного пункта пахло пóтом и гноем.

Я лежал на одной койке с поручиком Броничем. Свободных мест не было.

К вечеру привезли новых раненых, тоже дроздовцев, но 2-го полка, изрубленных шашками червонных казаков, прорвавшихся к нам в тыл под Суджей.

— Гнались за обозами, и — по головам, — по головам! . . — рассказывал раненый писарь, с мутными, как у плотвы, глазами. — Ну, господа офицеры, и время же, позвольте доложить вам! Чтоб писарей, да рубили! . .

Под утро запах гноя стал сильнее. Перебил даже запах иода. И опять мне казалось, — гноем пропитаны и тюфяки, не покрытые простынями, и красные без наволок подушки, и грубые рубашки, без пуговиц и тесемок.

— С буржуёв бы постричь следовало! . . — Солдат-марковец не имел даже своей койки, а потому ругался то в одном,

то в другом углу палаты. — Чтоб так, да страдать!.. Да задаром!..

— В операционную!.. В операционную несите!.. — кричал за дверью доктор. — Остолопы!.. Назад!.. Не четырех же зараз, остолопы!..

За окном палаты уже светало. В коридоре было еще темно. В дверях толпились растерявшиеся санитары. Электрическая лампочка за дверью перегорела. — Сюда!.. Да людей несете, — не толкаться... — кричал из темноты доктор. — Ос-то-ло-пы!..

* * *

— Я, прапорщик, уже позвонила, — сказала мне под утро дежурная сестра. — 35-43?.. Верно?..

Но дядя пришел только в вечеру.

Лежа на спине, я рассказывал ему о последних боях. Когда же, удивленный его молчанием, повернул к нему голову, то увидел его наполовину съехавшим со стула, с головой, уроненной на белый, крахмальный воротник.

— Сестра!.. — закричал поручик Бронич. — Здесь человеку дурно!.. Сестра!..

Дядя не вынес запаха гноя...

Я дергал дядю за руку, ставшую вдруг мягкой и влажной.

— Да что это?.. Господи!.. Да встань, наконец!.. Да встаньте!..

— Ты!.. Опять — буржуи, буржуёв!.. — кричал за моей спиной поручик Бронич. — Да я тебя, большевик, выучу! Встать, как полагается!..

Наконец, подбежала сестра.

... — Замашки твои большевистские! — все еще кричал за мной поручик. — Твои... твои... Встать, матери твоей черти!

Сестра около нашей койки возилась над дядей, а в дверь палаты вносили все новых и новых раненых.

Дядя пришел вновь только через два дня. В палату войти он побоялся. Я взял костыли и вышел в коридор.

— Сейчас поедем, — объявил мне дядя. — Нечего ждать у моря погоды. Я уже переговорил с главным врачом. Ну, и в хороший лазарет я тебя устроил. О! замечательный лаза-

рет. Таких у нас, раз-два, и обчелся. Имени генерала Шкуро. Не слыхал? В технологическом!..

— Не сердитесь и не осуждайте, — говорила через 10 минут сестра, застегивая мне шинель. — Недостаток рук... Дисциплины никакой... Ну, прощайте. А костыли верните... Нет у нас лишних... Пришлете?.. Ну, хорошо... До свиданья...

Держась одной рукой за перила, другой опираясь на костыль, я медленно сходил с лестницы. Дядя шел рядом. Гордо держал в руке мой второй костыль. В подъезде стояла молодая, хорошенькая сестра. Возле нее — человек шесть санитаров-студентов...

ЛАЗАРЕТ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ШКУРО.

Прошло недели три... За окном офицерской палаты лазарета имени генерала Шкуро зеленел сад Технологического Института. Когда по саду скользило солнце, с койки моей было видно, сколько желтых и буро-коричневых листьев нагнала уже на деревья осень.

Офицеров Добровольческой армии в палате почти не было. Преобладали казаки, донцы и кубанцы.

Тяжело раненые весь день стонали и мычали. Поправляющиеся играли в карты. День уходил за днем, и мне казалось, — им не будет конца...

* *
*

— Господа офицеры! Господа! — засуетилась однажды утром сестра нашей палаты, Кудельцова. — Господа, сейчас наша патронесса придет... Ах, поручик, смахните с одеяла крошки!.. Пятно, говорите?.. Просочилось?.. Есаул, голубчик, поверните подушку... Я после...

По палате, почему-то быстро оглядывая стены, пробежал главный врач. Санитары метались, держа в руках еще неопорожненные «утки». Под образами, в заднем углу палаты, старшая сестра торопливо выдавала чистые полотенца.

— Идет! Идет!..

Сестра Кудельцова оправила косынку и, вытянувшись, встала около дверей.

...Дама-патронесса медленно обходила койки. Над каждой останавливалась и, поднимая к лицу лорнет, дарила ране-

ных ласковыми улыбками. За ней следовал высокий, белый юноша в штатском. По указанию патронессы он раздавал табак и папиросы. Когда патронесса подошла ко мне и, оттопырив мизинец, потянулась за лорнетом, — я поднял одеяло и натянул его через голову.

Мне ни табаку, ни папирос патронесса не оставила.

«Да здравствует самостийная Кубань!» — следующей ночью написал кто-то на белой стене палаты.

. . . На стене играло утреннее солнце. Сестры с градусниками в руках бродили между койками. Надписи долго никто не замечал.

— Я, господа, давно уже напирал. . . И в ставке твердил и везде. . . — не торопясь, густым басом, гудел больной ревматизмом полковник, первый заметивший надпись. — Наш Осваг ни к чорту, господа, не годен! . . Чтоб среди офицеров. . . Да в офицерской палате. . .

Он сидел на койке и отхлебывал только-что принесенный чай.

— Да знаете ли вы, что у большевиков, в смысле, так сказать, единой идеологии. . .

Его перебил главный врач. Он вбежал в палату, размахивая в воздухе стетоскопом.

— Господа, взят Курск! Ура славным марковцам! . .

Кто мог, вскочил с коек. Другие присели.

А сестра Кудельцова, намочив полотенце, уже стирала со стены последнее слово надписи: «Кубань». . .

Прошло несколько дней. Приказом по армии генерал Деникин переименовал всех прапорщиков в подпоручики.

Старые подпоручики были недовольны:

— Ну, а мы? . . .

Вечером того же дня прапорщики, произведенные в подпоручики, пили коньяк три звездочки: «авансом на новое производство» — и смеялись в коридорах до полуночи.

* * *

И опять прошло несколько дней. Вечерело. . .

— Да, — рассказывал мой сосед слева, есаул 18-го Донского Георгиевского полка, подсевшему к нему юнкеру Рынову, — моему соседу справа. — Было это так — чорт порви его ноздри. . Расстрелять! — приказал командир полка. Взял

я тогда этого матроса: — «ша-лишь — я тебя по всем правилам!»... Ну хорошо!.. А он — ни глазом не моргнет. Стоит перед отделением, и хоть в кальсонах одних да в рубахе, чорт порви его ноздри, а гордый, что твой генерал... «По матросу, — скомандовал я тогда, — пальба отделением, от-деле-ние»... Выждал... Думаю, дам ему время бога припомнить. А матрос — ни глазом. Прямо фланговому на мушку глядит и улыбается, сука. Ну! — думаю... Поднял я руку и хотел уже — пли! — скомандовать, а матрос как полоснет на себе рубаху! И что вы думаете? Ссмотрю, а на груди у него орел татуированный. От соска и до соска. Двуглавый и по всем правилам, — с державой и со скипетром... От-ставить — скомандовал я. К но-ге! Пошли, чорт порви его... Привел я матроса в штаб... — порви его ноздри!.. Так и так, говорю, господин полковник. Приказания вашего не исполнил. Не могу заставить казаков целить в двуглавого орла. «Правильно!» — Полковник наш старой службы вояка. «Таких, говорит, не расстреливают. Руку!..» Руку мне пожал... Да...

Есаул замолчал.

— Позвольте, господин есаул, а что с матросом стало? У нас он остался?

— Убег, чорт порви его ноздри! — Есаул сплюнул. — В ту же ночь... Вот!.. а вы говорите: гу-ма — гу-ма-ни... или как там еще... Эх, юнкер!

* * *

Среди пяти сестер офицерской палаты сестра Кудельцова была самой ласковой.

— Ну, и девчонка, поручик, скажу я вам! — бросил мне как-то вечером есаул, провожая сестру Кудельцову глазами. — С такой бы, знаете, ночку провести! А?

Юнкер Рынов злыми глазами посмотрел на есаула, повернулся и лег на другой бок к нам спиною.

...Зажглись голубые ночные лампочки. Вечерние, — желтые, — уже потухли. К окну склонилась луна. Ее лучи сплетаясь с голубым светом лампочек, ползли между койками, цепляясь за края серых одеял. Под койкой юнкера Рынова они отыскали брошенную на пол гармонь-двухрядку и, упершись, остановились.

— Санитар! утку! — просил кто-то.

Я встал, взял костыли и вышел.

Когда я вернулся, раненые в палате возбужденно разговаривали.

— Поручик! Нами взят Орел! — объявил мне есаул. — Теперь — Тула, Москва, и кончено. Создать бы только твердую, как на фронте, власть.

Я молчал.

— Что ж вы молчите, чорт порви ваши ноздри! Поручик?

Я лег на койку, не спрашивая есаула, как понимает он слова «твердая власть».

Ночью я не мог уснуть. Опять болела нога, почему-то гораздо ниже ранения. Ступня тяжелела. Мне казалось, она камнем лежит на тюфяке. Стиснув губы, я упрямо смотрел на голубой потолок. Молчал.

Сестра Кудельцова, в ту ночь дежурная, бесшумно обходила палату.

— Что, юнкер, не спится? — остановилась она над койкой моего соседа.

— Не спится, сестрица. Мысли мешают. И все о вас и о вас... Вы, может-быть присядете? Я вам свои новые стихи почитаю...

«Час от часу не легче!» — подумал я. — «Гуманист, гармонист, поэт... — еще кто?»

Боль в пальцах понемногу сдавала.

— «Чаша страданий испита, — минуты через две вполголоса читал уже юнкер.

— Хоть бы любовь испить!..

«Только в огне ведь можно так беззаветно любить.
Милая! Свет мой тихий! Дай мне руку твою!
Буду о ней я помнить в каждом новом бою!»

Я повернулся на бок и, чтобы не слышать стихов юнкера, ушел с головою под одеяло. Уснул. Но под одеялом было душно. Нога опять заболела и вскоре я вновь открыл глаза.

«Никогда не буду так молиться,

— все еще нараспев читал сестре юнкер, —

Как пред жарким боем за тебя...
Может вам когда-нибудь приснится,
Как страдал я, родину любя...
Вы с крестом, а я с мечом разящим.
Мы идем, чтоб именем любви
Встретить день и с солнцем восходящим
Новый храм воздвигнуть на крови...»

*

Кажется, я застонал.

— Что, больно, поручик? — И сестра Кудельцова быстро поднялась с койки юнкера и склонилась надо мной.

— Теперь уже легче, сестра, — сказал я, поворачиваясь.

Юнкер больше не читал.

Много месяцев спустя, уже при Врангеле, после боя с конницей Жлобы, вспомнил я еще раз стихи юнкера.

Было это в середине июня. Степь дымила желтой пылью. Молодой хорунжий с шашкою в руке, расправлялся с кучкою пленных. Когда наша подвода подъехала ближе, я узнал в нем бывшего юнкера Рынова.

— Храмовоздвижник! — крикнул ему я. Не знаю, узнал ли меня юнкер Рынов. Желтая от солнца пыль, бегущая за нашей подводой, скрыла от меня и его и пленных. . .

ТЫЛ.

Листья уже слетели с деревьев и испуганно метались вдоль заборов Харькова. Я перешел на амбулаторное лечение, жил у дяди, два раза в неделю посещая лазарет, где ноге моей делали массаж и горячие ванны. В квартире дяди, кроме меня, жил и его бывший компанион Меркас, старый еврей, купец из-под Бердянска.

— Вульф Аронович, что вы это на старости лет местожительство сменили? — спросил я его как-то.

— Я вам скажу. . . — Меркас отложил в сторону недочитанный номер «Южного Края». — В такие времена, как мы сейчас переживаем, каждый честный еврей должен быть там, где у него меньше друзей и знакомых.

— Это почему?

— Я вам скажу. . . Потому что у каждого честного еврея есть друзья. А эти самые друзья могут перестать быть друзьями. . . — потому что — жизнь есть жизнь, господин офицер.

— Вы говорите загадками, Вульф Аронович.

— Я говорю загадками? Не дай боже, мои загадки разрешит вам сама жизнь, господин офицер. . .

. . . — Льгов, Севск, Дмитриев, Дмитровск. . . — идут вперед, дядя. . .

— Дмитровск, Дмитриев, Севск. . . Севск. . . Севск. . . Чорт! Вот бои, должно быть! . .

— Оставьте газеты. И вам не наскучит? — почти каждый вечер приходил к нам сын соседа, молодой ротмистр Длинноверхов, не знаю какими бесконечными командировками примазавшийся к Харькову. — Газетные известия всегда только контр-рельеф фронта. Поняли? Ей-богу не понимаю, что тут интересного: приводить всю эту чужую брехню к единому знаменателю и решать потом алгебраические задачи. Ну — победа, ну — поражение. . . вот вам и оба возможных ответа. Не все ли равно?

— Ротмистр!

— Знаю, что не корнет. Потому и говорю так, подпоручик. Прежде всего заметьте, — это спокойные нервы. Восторг же и тревога для них равно вредны. Поняли? Пойдемте-ка лучше в город.

В городе лужи были уже скованы льдом. Падал мелкий снег, сухой и колкий.

— Романтизм может быть создан. Его и создали. Но, я, поручик, человек с железным затылком! — уже на Сумской говорил мне ротмистр. — Нужно глубоко в карманы опустить руки, научиться свистеть сквозь зубы и проходить сквозь все события. Не оборачиваясь. Поняли? Одним словом, нужно иметь железный затылок. А у вас затылок гут-та-пер-че-вый. И это от романтизма, поручик. Романтизм, как известно, ослабляет организм. Говорю рифмованно, чтоб лучше запомнили. Зайдем, что ли?

Мы зашли в какой-то подвал, освещенный лиловыми огнями. Стены подвала были разрисованы острыми треугольниками. Окна задрапированы. Глухой гул многих голосов встретил нас и поплыл над нами, качаясь.

Мы отыскали свободное место и заказали ужин. За круглым столиком около нас пировали три офицера-шкуринца и молодой чернобровый юнкер. Когда мы вошли, они только-что оборвали какую-то песню. С ними сидела декольтированная женщина, с густыми рыжими волосами, перехваченными вокруг лба широкой черной лентой. Женщина была пьяна и, выше колена освободив из-под юбки ногу, водила носком лакированной туфли направо и налево. Офицеры-шкуринцы тяжело ворочали головой, пытаясь поймать глазами кончик ее туфли.

— Ножку! .. Ножку, моя Мэри! .. Выше, божественная! — в пьяном пафосе кричал один из офицеров, пытаясь схватить Мэри за подвязку. Но Мэри спокойно отстранила его руку, и гордо откинула рыжую голову, огненную под лиловою лампою.

— Выше? Голоса выше, господа офицеры!

— «Черная лента, черная лента,—пьяными голосами гаркнули шкуринцы.

— Выше! ..

— Ты нам даришь любовь!

«Да - вайте деньги, да - вайте деньги,
А не то мы пу - стим кровь!..».

— Выше!!! — И носок лакированной туфли метнулся вверх, ударив по губе одного из офицеров.

— Ротмистр, идемте, — сказал я и привстал, опираясь на палку. Но ротмистр взял меня за локоть.

— Руки в карман, поручик, и наблюдать! Сие наше занятие называется тренировкой.

Рыжеволосая Мэри, облокотясь на столик, смотрела на шкуринцев прищуренными глазами. Вдруг, опустив за декольтэ руку, достала золотой, нательный крестик.

— Ротмистр, идемте!

Но ротмистр меня вновь усадил.

— . . . награда и память обо мне, — говорила, играя крестиком Мэри. — Тому, кто из вас окажется самым сильным и выносливым. . . — И, засмеявшись, она оправила черную ленту и встала. — По алфавиту. . . Вы, юнкер Балабанов, идете первым.

Юнкер медленно поднялся, звякнул шашкой о сапоги и, допив стакан, пошел вслед за Мэри к каким-то, завешанным красной портьерой, дверям.

. . . На улице мигали бледные фонари.

Было около полудня. Я шел из лазарета. Опять выпал снег. По притоптанным панелям ходить было скользко, но домой мне еще не хотелось. Опираясь на палку, я долго бродил по улицам, вышел, наконец, на Пушкинскую, и пошел к лютеранской кирке, наблюдая, как веселой гурьбой бегали школьники, бросая друг в друга пригоршни рыхлого снега.

— А! Здравия желаю!

Я быстро обернулся.

Передо мной, в длинной кавалерийской шинели николаевского сукна, с погонами штабс-ротмистра, при шпорах и шашке, стоял Девинэ. Приветливо улыбаясь прищуренными, мягкими глазами, он протянул мне руку.

— Поручик! .. А! .. Поправились? — Девинэ был навеселе. — Поручик! .. Гора с горой... Вспрыснем за ваше выздоровление... А?

— Подождите! — Я быстро оттянул руку. — Подождите, сэр? Прежде всего скажите, когда и кем вы произведены? .. Из санитаров, да сразу в штаб-ротмистры?

— Ах, господи! — Девинэ засмеялся. — Да разве так встречают старых друзей?! Так сказать, семья дружных офицеров... э-э-э... возрожденная в традициях Корнилова и Алексеева...

— Слушайте! Я не контр-разведчик и не полицейский. Я просто офицер-фронтовик. А потому, если вы немедленно же не оставите меня в покое...

В пьяных, женственных глазах Девине скользнула стальная, уже не пьяная злоба. Он вздернул плечи, круто повернулся и быстро пошел на другую сторону Пушкинской.

Какая-то девочка, пробегая мимо меня, нагнулась. — Вы это обронили? да? — и, подняв с панели желтую лайковую перчатку, протянула ее.

— Нет, не я...

Девинэ, — через улицу, — подозвал извозчика и уже садился в сани.

Синагоги на Пушкинской улице и на Подольском переулке были переполнены молящимися. Пришло известие о погроме, учиненном войсками генерала Бредова, оперирующими под Киевом. В синагогах читали «кадеш».

Меркаса мы не видели целыми днями. Потом, трое суток он постился.

— Вы, господин офицер, понимаете, что это значит? .. Вы понимаете? — десять тысяч евреев! .. а за что? .. разве можно себе это только представить? ..

— Вульф Аронович, да вы свалитесь с ног!

— Вульф Аронович, да поешьте! ..

Но Вульф Аронович уходил в свою комнату.

— Я уверен, что он там у себя закусывает, — сказал нам как-то дядя, встал из-за стола и тоже пошел в комнату Вульфа Ароновича.

Вульф Аронович не закусывал. Он рыдал, вытирая слезы длинной, седой бородой.

. . . Четыре дня бушевала над Харьковом вьюга. На пятый снег лег на улицы. Стихло.

Я вышел из дома, боясь прихода ротмистра Длинноверхова.

- Придет. . . Будет учить. . . Еврейские погромы, как материал. . . Тыловое затишье, и фронт — как отдушина. . . Да ну его! . .

Подняв узкие угловатые плечи, мимо меня прошли два еврея. Их обогнала нарядная дама. Под фонарем она замедлила шаг и, обернувшись, улыбнулась мне накрашенными губами.

«Уеду на фронт! Хорошо — уеду. . . Ну, а дальше?». . . Я остановился под соседним фонарем. — «А дальше?». . .

Улицы тянулись за улицами. Вдоль улиц тянулись фонари.

Когда я подходил к подъезду какого-то богатого дома на Сумской, к нему, замедляя ход, подъезжал автомобиль. Сквозь окно автомобиля я увидел черно-красную корниловскую фуражку, повернутый ко мне толстый затылок и под ним генеральские погоны. Я подтянулся, и когда генерал повернулся ко мне в профиль, отдал честь. Рука генерала медленно поднялась к фуражке, но до козырька не дошла; генерал дважды клюнул носом и как-то странно, точно потеряв равновесие, качнулся вперед. Очевидно, он был пьян. Это был генерал Май-Маевский, командующий Добровольческой армией.

«Ну а теперь?». . .

Был уже поздний вечер, когда я добрел до конца Екатеринославской.

Над присевшим под Холодной Горой вокзалом качалось тихое зарево фонарей. Перед вокзалом, на площади, синел снег. Одинокий, разбитый фонарь в конце площади боролся с темнотой набегающей ночи. Хотел светить, но ветер его задувал.

— Ать, два! Левой! Ать, два! Левой!

Я обернулся. Через площадь шла рота какой-то тыловой части. Солдаты шли, размахивая руками, как при учении.

Ветер раздувал полы их английских шинелей. Под тяжелыми, коваными железом сапогами скрипел снег.

— Ать, два! Левой!

А с другого конца площади, — к вокзалу, — оттуда, где ветер успел задуть уже три фонаря подряд, молча, без команд и песен, шли сборные роты недавно переформированных полков 140-й дивизии. 140-я пехотная дивизия, по численности не более стрелкового трехбатальонного полка, после недавнего поражения вновь выступала на фронт.

На солдатах болтались истрепанные старые шинели. Ноги были обмотаны мешками из-под картофеля. Снег под сапогами не скрипел. Очевидно подметок на сапогах не было...

— Ать, два! Ать, два! Левой! Левой!..

Рота, идущая с вокзала, выходила на освещенную Екатеринославскую. На углу Екатеринославской стояла женщина. Женщина плакала.

Я тихо побрел домой.

* * *

Ротмистр Длинноверхов пришел ко мне только на следующий вечер. Он был во вновь сшитых, широких галифэ.

— У этих карманы еще глубже! Руки здесь по локти войдут. Как видите, поручик, я прогрессирую.

Мне ротмистр уже успел порядком надоесть, и я ничего ему не ответил.

— На Сумской есть так называемый «Дом артиста». Слыхали, конечно?.. — опять обратился ко мне ротмистр. — Ну вот... идемте туда. Там подчас можно натолкнуться на весьма любопытные экземпляры. Богатейший, скажу я вам, материал для изучения новых индивидуумов. Продукт последних неудач фронта. И как еще интересно! Вчера, к примеру, я видел там молодого корнета... Впрочем, я расскажу вам по дороге. Идемте.

Но итти я отказался.

— Довольно, ротмистр! Мне противен ваш тыл и ваши наблюдения. У уезжаю на фронт, а потому...

— Что потому? — улыбнулся ротмистр.

— Потому... Потому... — Я запутался, не зная, что ответить. — Потому... — довольно! — сердито кончил я. Ротмистр сел в качалку. Небрежно вытянул ноги и глубоко в карманы засунул руки.

— Еслиб я, поручик, давно уже не разучился драть смехом глотку, — медленно, играя каждым словом, вновь обратился он ко мне, — я бы — поняли? — я бы не встал вот с этой качалки. Я бы умер со смеха над вашей глупостью. Поняли, юноша? . . .

. . . «Подожди ка!» — припоминал я, идя на следующее утро по Мироносицкой улице. — «Теплые перчатки куплены. . . Шарф — есть. . . Носки? . . Да! Нужно купить шерстяные носки!» . .

Хриплый гудок автомобиля рванулся в тишину улицы. Со стороны Мироносицкой площади шел грузовик, нагруженный английским обмундированием. Высоко на сложенных шинелях сидели два краснолицых солдата англичанина. Третий лежал. Кажется, курил трубку. Синий дымок клубился над его фуражкой.

Но вот грузовик поровнялся со мной. Лежащий на шинелях солдат приподнялся и встал, чтоб вытряхнуть пепел из трубки, и я увидел на его фуражке русскую офицерскую кокарду. На узких погонах блестели звездочки. Увидев меня, офицер быстро отвернулся.

Это был Девинэ.

Через три дня я отъезжал на фронт. Дядя жаловался на простуду, а потому выйти на мороз побоялся. Не вышел и Вульф Аронович.

Было холодно, дул резкий ветер и я спешил войти в вагон.

— Прощайте! — сказал я росмистру Длинноверхову, единственному, вышедшему меня проводить.

— Прощайте, мой милый чудак! . .

Когда поезд тронулся, я перегнулся над перилами площадки.

Публика на перроне махала платками и муфтами.

Какая-то девица в шубке с беличьим воротником долго бежала по платформе, ухватясь одной рукой за мерзлое окно вагона.

Только ротмистр, подняв под самую папаху крутые, барские плечи, размеренным, спокойным шагом шел уже к выходу.

«Обернется или нет?» — гадал я, пытаясь не упустить его из виду.

Ротмистр не обернулся.

— Действительно, у него железный затылок! — вслух произнес я, вздохнул и вошел в вагон.

За окном бежали последние строения засыпанного снегом Харькова. . .

ХОЛОДА.

— Выходите, господин поручик! Дальше мы не поедем!

Молодой вольноопределяющийся бронепоезда «Россия» натянул рукавицы и глубоко, по уши надвинул папаху.

— Что, разве уже Льгов?

— Льгов сдан, господин поручик. Еще вчера.

Холодный ветер ударил по лицу и на минуту смял мое дыхание.

— А что за станция? — спросил я, пытаясь встать спиной к ветру.

— А чорт ее разберет! . .

Я поднял голову, но надпись станции была занесена снегом.

* * *

— А, здорово! . . Идите, идите сюда! . .

На станции, в дверях телеграфного помещения стоял поручик Ауэ, наш ротный.

— Я говорил. . . — ротный пошел мне навстречу. — Я же говорил, — кто, кто — а вы вернетесь. Потому — немец, долг и прочее. . . «Deutschland über alles!». . . И засмеявшись, он крепко пожал мне руку. — Ну, идемте. . . Представляться Туркулу не стоит. . . Запекут еще в офицерскую! . . Эй, Ефим! . .

В телеграфной было накурено. Портреты генерала Маркова и Алексеева, повешенные на стене «осважниками», казались отпечатанными на голубой бумаге.

— Вот капитан, взводный 2-го взвода, — представил меня ротный своему новому помощнику, сухому, черному штабс-капитану, с усами длинными как возжи.

— Штабс-капитан Карнаоппулло, — приподнялся тот, потом вновь сел, достал из кармана карамель и стал сосать ее, разглаживая усы двумя пальцами.

Поручик Ауэ собрал со стола игральные карты.

— Ефим, чаю! Да шевелись же, холуй сонорылый! Барбос!..

* * *

В чай Ефим подлил рому.

— Льгов сдан, — рассказывал ротный, подняв из-под козырька бело-малиновой фуражки холодные, энергичные глаза. — Ничего не поделаешь. . . Ни-че-го! . .

Он задумался и долго грыз мундштук пожелтевшей папиросы.

— Кстати, вы в тылу ничего не слыхали? Нет? . . Говорят, Буденный занял Касторную и бьет всей нашей армии глубокий тыл, — на Валуйки и Харьков. Не слыхали? . . Чем же объяснить наш отход без настоящего, чорт дери, поражения? . . Эх, поручик, поручик! Что это, донцы подкачали? или Махно силы точит? . . — И вдруг, выплюнув разжеванный мундштук, он ударил по столу кулаком. — Чорт! А очередные задачи? . . Знаете, что у нас теперь за очередные задачи? — Не растерять отступающих полков. Только! . . Связи — никакой. Корниловцы? Марковцы? . . — Кого чорта корниловцы и марковцы, когда мы не знаем даже, где наш 2-й и 3-й полки! . . Как вы нашли нас, поручик?

Я стал рассказывать о Ворожбе, дальше которой пассажирские поезда уже не ходили, о блуждании с бронепоездом, об этапных комендантах, ничего другого не делающих, кроме, как ругающихся с начальниками станции, с которыми в лихорадочной спешке составляли они наряды для отступающих с барахлом поездов.

— Так! . . Бар-босы! . . — Поручик Ауэ хмурил брови. Оба его шрама на лбу сошлись вместе и висели над переносицей глубоким крестом. — Та-ак! . .

Штабс-капитан Карнаоппулло сосал уже третью карамель. Из засахарившихся бумажек складывал лодочки, осторожно разглаживая их ногтем большого пальца.

Ветер за окном рвал с крыш снежные сугробы.

— Ишь, метет! . . — Ротный встал и обернулся к окну. — Метет, — а солнце! . . Ах, так? Вы спросили, где наша рота? . . Рядом она, — в деревне. . . Отогреться же нужно, как вы думаете? . . Да? . .

Мягкость и злоба, насмешки и какая-то теплая грусть постоянно, безо всяких причин, сменялись в ротном. В тот день эти переходы были особенно резки.

— Рота блины печет, — что еще барбосам нужно? . . Жрут сейчас. . . А мне вот? . . Сиди здесь, жди распоряжений Тур-

кула. Жди, — чорт тебя выдери! — а телеграф, — мать его с полки! — не стучит и стучать не хочет! . .

Ротный опустился на скамейку и, приподняв одну ногу, пропустил руки под колено.

— Эх, поручик, поручик! . . Хочется, да не можется! . . Телеграфу? . . Да нет же, нам, конечно! . . Куда? . . Да что это с вами, поручик? . . Мозги подморозили? . . На Льгов! — на Севск! — на Брянск! . . Довольно? Нет? . . На Москву чорт бы драл ее с комиссарами! Эх, поручик, поручик!

Он вновь понизил голос.

— Бьют! Кроют! . . Не нас, не дроздов, — всю армию кроют! . . Вот теперь, — и, склонившись надо мной, он продолжал почти шопотом: — вот теперь, когда нас никто не слышит (Карнаоппулло не в счет!), я скажу вам в первый и в последний раз: бьют! . . Кроют! . . — А после. . . (впрочем, вы, поручик, меня знаете), после никто э-то-го сказать не по-сме-ет! Слышите? Не по-сме-ет! . .

Горячий чай острым клубком царапал горло. Папироса прыгала между пальцами. На синем, замерзшем окне прошли чьи-то тени. Неровный ряд штыков, сломанных, как казалось мне сквозь лед окна, качнулись и вновь сползли за стену.

— Господин поручик! — вошел Ефим. — Господин поручик Кисляк изволили уже появиться. 2-й взвод на платформах.

— Пусть подождет. Иди!

Закуривая новую папироску, поручик Ауэ опять склонился ко мне. . .

* * *

. . . — Итак, поняли? . . Вы сейчас же примете ваш взвод. Кисляка мы отправим назад в офицерскую. . . Примете взвод и сейчас же пойдете. . . Впрочем, нет! . . — возьмете две площадки бронепоезда и поедете на $2^1/_2$ станции к северу. . . Так?

Я кивнул.

— До 3-й, впрочем, вы и сами не доедете. . . Отлично! Значит, слушайте, — я разъясню вам вашу задачу. . . Сегодня под утро. . .

Минут через 15, приняв от подпоручика Кисляка свой старый взвод, я погрузил его на две площадки бронепоезда «Россия» и поехал на северо-восток.

Оставляя Льгов, 2-й батальон 1-го Дроздовского полка заметил на пересечении железнодорожных путей Льгов — Суджа и Курск — Коренево — Ворожба какой-то занесенный снегом поезд. Спеша занять более благоприятные позиции, батальон отошел верст на 20 южнее Сейма, и к поезду не подошел, выслав к нему лишь разведку, одно отделение, под командой подпоручика Морозова.

И вот прошло уже полдня, а подпоручик Морозов все еще не возвращался.

Я был послан на поиски его. А если нужно — ему на поддержку.

* * *

. . . На открытых площадках бронепоезда кружился ветер. Свечников, до самого носа закутанный в какие-то пестрые тряпки, не мог держать винтовки. Руки ему не подчинялись.

— Ты! Э-эй! Сосколь-зне-ет! . . — крикнул Нартов и, подняв упавшую винтовку Свечникова, поставил ее между ногами.

— По-слу-шай! . .

На штыках, разбиваясь, звенел ветер.

— По-слу-ша-а-ай! — снова закричал я Нартову. — А где Фи-ла-тов? . .

— У-у-убит! . . — хлестнуло меня по вискам.— Под Се-е. . .

И вновь набежавший ветер отсек и далеко в степь отбросил конец его ответа.

Бронепоезд уже выходил в открытое поле.

. . . Высоко над головами размахивая поднятыми винтовками и погружаясь на каждом шагу в сугробы, мы медленно шли к занесенному снегом поезду.

Нартов шел рядом со мной. — Вот, господин поручик, на лыжах бы! . .

За левым флангом нашей цепи садилось красное солнце. Бронепоезд в тылу у нас все ниже опускался за сугробы. Лишь поднятая вверх четырехдюймовка его второй платформы, точно указывая дорогу, все еще торчала за нами. Поезд впереди нас все ясней выступал из снега. Около вагонов кто-то бродил.

— Цепь, стой! . .

— Кажется, наши. . . — сказал Нартов.

Это было, действительно, наше 2-е отделение.

— Осторожней!.. Здесь яма. За сугроб лезайте!.. Левее!.. Еще левей!..

Ведя нас к засыпанным снегом вагонам, подпоручик Морозов разъяснил мне создавшуюся обстановку.

Взорванный железнодорожный мост на пути Льгов — Суджа упал и засыпал проходящий под ним путь Курск — Коренево — Ворожба, на котором и застрял санитарный поезд, очевидно, пытавшийся спастись от красных, занявших, по сведению одного из раненых, станцию Клейнмихелево и вышедших, таким образом, в тыл корниловцам, только-что отошедшим от Курска.

— Ну хорошо, поручик, я понимаю... Ну, а ты чего?.. Ты-то чего задержался?..

— А что делать прикажешь?.. — Подпоручик Морозов остановился. — Раненых бросить?.. Персонал и те, что могли ходить, разбежались. 150 уже замерзло. 16 последних ждут очереди. А ты говоришь...

— Зачем же бросать! Но ведь можно было бы послать связного. Мог бы наконец потребовать... ну, средства для перевозки, что ли...

Ноги вязли в сугробах. За голенища ссыпался снег.

По затылку хлестал ветер.

... — осело, расползлось, и едет теперь по всем швам... Понимаешь? При таком положении за ранеными никого не посылают. Понимаешь? — говорил подпоручик Морозов, пытаясь за ушки сапога вытянуть застрявшую в сугробе ногу. — За мной, за боеспособным отделением, — другое дело... Видишь, я же не ошибся... — а за ними... — он уже подошел к крайней теплушке санитарного поезда и открыл дверь, — а за ними вот — никогда!..

Друг подле друга, прикрытые соломой и шинелями, уже снятыми с замерзших, белые, с бурыми и сине-лиловыми пятнами на щеках, лежали на полу теплушки раненые корниловцы.

* * *

— Господин поручик, и это вы их всех сюда перетаскали? — почему-то шопотом спросил подпоручика Морозова Нартов.

В темном углу теплушки стоял какой-то молодой, коренастый солдат, с рыжими и густыми как щетка бровями.

— Нет. Он это... — кивнул на него головой подпоручик Морозов. — Единственный санитар, оставшийся при поезде. Он же и отапливал. Два дня... Костылями, носилками...

Рыжий санитар дышал в кулаки и под самым носом тер их друг о друга.

— Здорово! — подошел к нему я. — Ну, что же ты?.. Здорово!

— Здрасьте! — вдруг быстро ответил тот, не по-солдатски кивнув головою.

— Здрасьте, здрасьте! — улыбнулся я. — Как звать тебя, молодец?

Санитар подумал и, не торопясь, поправил фуражку без кокарды.

— Ленц моя фамилия будет. Иохан Ленц.

— Немец?

— Та-а! Семля немного под Саратов есть. Из колонистов будем. Та-а, Ленц, Иохан.

Я опять улыбнулся. — Молодец Ленц! — и хлопнул его по плечу: — спасибо за службу. Что — санитар?

— Wo-o... В золдат зачислен.

— А какого полка?.. Куришь?..

— Мы 1-го Катериноштатский немецкого имени Карл Либкнехт, — курим.

— Ах ты, милая голова! — засмеялся Нартов. — 1-й Катериноштадтский ку-рить изволит! Ах ты, Либкнехт ты!..

— Смотри-ка, везде люди! — сказал за нами кто-то.

— Пленный ведь, — а сколько людей спас! О, Господи!..

* * *

...С дверей срывались сосульки. Стены теплушек были пробиты инеем. Бежал сквозняк...

... — Нет, поручик Морозов, бросьте меня водить по этому леднику!..

... — Поручик Морозов! Бросьте!..

...Во всех теплушках, уткнувшись головами под шинели, лежали замерзшие корниловцы, — безрукие и безногие.

— Поручик Морозов! Ехать нужно!.. Уже поздно, Николай Васильевич...

Подпоручик Морозов меня не слушал. Мне стало страшно. — Николай Васильевич! — Мне показалось, подпоручик Морозов сходит с ума. — Нартов!.. Эй, Нартов!..

Над крышами поезда грузно бежал ветер...

Подошел Нартов, и вскоре бронепоезд «Россия» медленно подходил ко взорванному мосту.

* * *

— На насыпь осторожней! Эй, вы там!.. Не так, — головой вперед... Вот... Так вот... Правильно!.. А ну, который это?

— Одиннадцатый, господин поручик!

Было уже темно. На рельсах синими блестками плескалась луна. Над рельсами, играя с ослабевшим ветром, бежал снег.

— Двенадцатый?.. А Свечников где?.. Где Руденко?

— Эй, Свечников!.. Руден-ко!..

...тринадцатый, четырнадцатый...

Пятнадцатый раненый тяжело хрипел...

— Осторожнее! Не растрясывай! Нартов, да поддержи же!

Когда уже и 16-го раненого подняли на площадку, появились наконец Руденко и Свечников. Они волочили два тяжелых мешка.

— Что это? — удивленно спросил я.

— Магги... Ну, и запасов там!.. Надо б вернуться, господин поручик.

Я взглянул на часы.

— Залезай, шакалы!..

Мы поднимались на площадку, ерзая животами о промерзлую броню.

* * *

На площадке невозможно было ни присесть, ни встать на колени. Раненые заняли слишком много места. Мы стояли глухой стеною, обхватив друг друга за пояса.

Черная, снежная равнина быстро и круто скользила из-под поезда. Мне казалось, — она срывается вниз и горбатой, бешеной волной бьет под колеса.

— Держись! Эй! Крепче!..

Высоко поднятая за нами четырехдюймовка чертила над горизонтом какие-то широкие круги и полукруги.

И вдруг:

— Стой!.. Эй, стой!..

— Стой!..

За криком — вверх — взвился ветер и сразу же сорвался, сбитый внезапным выстрелом в небо.

Черная волна над насыпью рванулась кверху, вздулась и вдруг остановилась, гулко ударившись о броню..

Подпоручик Морозов соскочил с площадки и по шпалам побежал в темноту. За ним побежал Нартов.

— Упал? Кто? Кто упал? . .

Но никто ничего ответить не мог.

Было лишь слышно, как на площадке перед нами стонали раненые и как дышал в темноте тяжелый и усталый паровоз.

Наконец Морозов и Нартов вернулись.

— Упал Руденко. . . На-смерть! . .

. . . И опять побежала вдоль насыпи крутая, черная волна.

* * *

На станции нас встретил поручик Ауэ.

— В чем же дело, чорт вас дери? Поручик Морозов! . . Поручик Морозов, в чем дело? . .

— Прикажите разгрузить. . . — указал на переднюю площадку поручик Морозов.

Когда раненых разгрузили, четверо из них мутными уже глазами смотрели в темноту.

БОИ В КОЛЬЦЕ.

В деревне Гусяты, где был расквартирован наш батальон, было уже совсем темно.

— Не стоит раздеваться, поручик, — сказал мне подпоручик Петин, командир пулеметного взвода нашей роты. — Ложитесь так. Сейчас набегут красные. Они всегда теперь ночью. . .

Седоусый хохол хозяин снимал на лавке валенки. Я сел рядом с ним и стал натягивать снятые было сапоги.

— Хорошо дома-то сидеть, а? — спросил хохла подпоручик Петин. — Спать ляжешь. . . А нам каково?

— Сыдилы б дома, панычу. — Никто б ни ниволил.

За стеной мычала корова.

Ночью мы вскочили.

За деревней металась быстрая ружейная пальба. Точно ударяясь друг о друга, над крышей разрывались гулкие снаряды.

— Строиться!

Мы бросились к дверям, хватая спросонья чужие винтовки.

А седоусый хохол сидел на лавке и, глядя на нас, почесывал поясницу.

* * *

. . . Ночной ветер путался в голых ветвях.

Прикрывающая отступление пятая рота медленно обходила деревню. Наша, 6-я, вышла на ее юго-западную окраину и стояла под стеной какого-то пустого строения, с содранной крышей. 7-я и 8-я были уже далеко за деревней.

Мимо нас проходили последние силуэты отставших от рот солдат.

Вот, подпрыгивая и качаясь на снежных крутых ухабах, прогремела походная кухня, и вновь, вдоль опустевшей дороги побежал лишь низкий одинокий ветер, точно испуганный приближением боя.

Прошло еще полчаса.

— Кого мы ждем, поручик?

— Красных. Если удастся, мы ударим в тыл. А вы, — ротный обернулся к поручику Петину, — вы подогрейте с фланга. . . Эй, не курить!

На дорогу, кивая передками саней, выехал небольшой обоз. Чья-то рука, поднятая с последних саней, качаясь в воздухе, то сжимала, то разжимала пальцы.

На фоне темного неба эти черные пальцы казались большими и бесформенными. Две сестры в желтых овчинных полушубках и в папахах поверх косынок бежали, спотыкаясь, за санями.

Над нами опять прогудело несколько снарядов. Шагах в 500 они разорвались, брызнув в небо золотым и острым огнем.

— Барбосы! По обозам! . .

Прошло еще полчаса. . .

* * *

— Пропустить обе цепи! По дозорам не бить!

Поручик Ауэ расправил плечи, вышел на дорогу и поднял роту движением руки:

— В цепь! . . господа офицеры. . .

*

Мне казалось, — ротный не командует, а беседует с кем-то, спокойно и тихо.

Мы рассыпались в цепь, одним флангом упираясь в деревню, входя другим в темную ночную степь, — к югу.

Цепи 8-й роты и наступающих на нее красных шли с севера.

Минут через 10 мы открыли частый огонь. . .

— Справа, по порядку. . . рассчитайсь!

— Первый.

— Второй.

— Третий.

. . Утро медленно сползало с неба. Пленные красноармейцы, понуро опустив головы, стояли неровной, длинной шеренгой.

— Возьми-ка в руку.

— Да, здорово!

Под подкладкой папахи подпоручика Морозова я нащупал пулю.

— Тридцатый.

— Тридцать первый.

— А ну поживей! — Полковник Петерс, наш батальонный, торопил пленных.

— Сорок седьмой.

— Со-рок восьмой.

— Сорок восемь, господин полковник! — крикнул с левого фланга поручик Ауэ.

Я раскуривал отсыревшую папиросу. Ругался. . .

— Мы мобилизованные. . . Приказано было, ну и стреляли, — добродушно рассказывал возле меня стоящий на фланге пленный, молодой красноармеец, с широким крестьянским лицом. — После, как патроны вышли, сдались, конечно. . .

— Так! . . — Поручик Ауэ уже тоже подошел к пленному. — Ну, а если б не вышли, сдались бы?

— Если б не вышли, и не сдавались бы. . . Зачем сдаваться-то?

— Хороший солдат будет! — сказал ротный. — А ну, подождите. . .

Через минуту он вновь вернулся.

— Этого, поручик Морозов, возьмете в 1-й взвод. Хороший будет солдат! . .

Над шеренгой пленных бежал дымок. Пленные курили.

Но вот из-за строенья с содранной крышей показались всадники. К пленным подъезжал полковник Туркул.

— Идем! — сказал мне подпоручик Морозов. — Сейчас расправа начнется. . .

Под ногами коня Туркула прыгал и кружился бульдог. С его выгнутой наружу губы болталась застывшая слюна. Бульдог хрипло дышал.

— Ах, сук-к-ины! . . — пробежал мимо нас штабс-капитан Карнаоппулло. — Ах, сук-к-ины, как стреляли! . . Сейчас мы. . . Сейчас вот! . . Эй, ребята, кто со мной? . .

За штабс-капитаном побежал Свечников.

* * *

Мы шли к ротному обозу, — за винтовкой пленному красноармейцу.

— Как звать тебя, земляк? — спросил его подпоручик Морозов.

— Горшков, — ответил тот, как-то густо и с ударением произнося букву «о».

— Ярославский?

— Ярославский, так точно! — И, взглянув на нас, красноармеец чему-то радостно улыбнулся.

А за спиной уже раздались первые выстрелы. Бульдог радостно залаял и вслед за ним кто-то загоготал, тоже как бульдог, коротко и радостно.

Красноармеец обернулся и вдруг, остановившись, поднял на нас задрожавшие под ресницами глаза.

— Товарищи! . . Пошто злобитесь? . . Товарищи! . .

Выстрелы за нами гулко подпрыгивали.

— Холодно! . . — не отвечая Горшкову, тихо сказал мне подпоручик Морозов. Зубы его стучали.

А в лицо нам светило солнце, ветер давно уже стих, и было тепло, как весною.

Деревни, степь. . . и опять степь, степь, деревни. . .

— Ничего! Скоро вечер. . . Отдохнем.

— Ты, чорт жженый! Это вечером-то? . .

— Не робей! . . Говорят, ребята уже и за санями посланы. . . Поедем скоро.

— Полагалось бы! . . Не ровен час, — окружат нас красные. . .

Перед ротами гнали пленных. Было их уже не 48, — всего 29. . .

Почти раздетые, без сапог, они шли, высоко подымая замерзшие ноги, то и дело озираясь на штабс-капитана Карнаоппулло и Свечникова, идущих с ними рядом.

. . . Деревни. . . Степь. . . И опять степь, степь, деревни. . .

От боев мы уклонялись. Очевидно, боялись отстать от общего фронта.

Однажды под утро, когда сон сбивал шаг и, раскачиваясь на плечевых ремнях, звенели штык о штык винтовки, с юга, оттуда, где шли наши дозоры, вновь хлестнуло вдруг низким огнем звонкой шрапнели, и сразу, со всех четырех снежных сторон, обхватила нас частая и сухая ружейная пальба.

— Пулеметы! Пулеметы! . . — кричал полковник Петерс, верхом на кривоногой, крестьянской лошаденке врезаясь в роты. — Пулеметчики, вперед! . .

— Рас-ступись! . .

— В цепь!

— Да сторонись! . .

Артиллеристы, повернув орудия, быстро окапывали батарею. За батареей метался обоз.

— Батарея, — огонь! . .

— Цепь! — кричал штабс-капитан Карнаоппулло, выбегая на дорогу.

— Трубка ноль пять.

— Цепь.

— Ноль пять, — огонь! . .

— Це-епь!

— В цепь, вашу мать! — И, отстранив растерявшегося штабс-капитана, поручик Ауэ осадил напирающих обозников. Вышедшая из скрута смешавшейся походной колонны, 6-я рота сбежала в поле, рассыпалась и уже спокойно двинулась вперед.

. . . Ухали орудия, уже сплошным, густым гулом покрывая ружейную и пулеметную пальбу. Батальон шел треугольником, рассекая огнем черную ночь. . .

К утру мы пробились.

* * *

— Шибко палили! . . Как ваши давеча! . . — сказал мне Горшков, идя со мною к 1-му взводу.

. . . Подпоручик Морозов стоял над санями, в которых, сжимая пальцами поросший бородой подбородок, лежал рядовой Степун. Раненый осколком в грудь, Степун умирал.

— Не совладел. . . — хрипел он, пытаясь приподняться. — Не уберег. . . Жизни не. . . не. . . не уберег. . .

Он смотрел на нас округлившимися, немигающими глазами. Пальцы на подбородке у него расползались.

— Отходит! — тихо сказала Горшков и, сняв фуражку, перекрестился.

— Ннна-а-а-а-а. . . — вновь задергал Степун губами. — Навов-во-вовсе-теперь. . . от-т-т-т. . . — Сквозь прикрытый рот Степуна было видно, как прыгает его язык. — Т-т-т-т. . . от дети-шшш-ш-ш. . .

И зашипев, он захлебнулся красной пеной и, выгнувшись вверх всем телом, бросил руки по швам. . .

* * *

— Я давно уже. . . Чорт! . . От детишек, — помнишь? . . — подошел ко мне через час подпоручик Морозов, когда уже на пустые сани Нартов набрасывал свежую солому. — И у меня ведь. . . — Он замолчал, вздохнув, и добавил, уже тише: — Ведь и жена моя тоже. . . носит. . . Уже на седьмом теперь.

— Господин поручик! . . Господин поручик! . .

Меня звали к ротному.

* * *

. . . — Ты что? Скулить? . . — размахивая ножнами шашки, кричал на Ефима поручик Ауэ. — Я тебя, барбос, в крючок согну! А в роту, а в снег по брюхо, а в бой хочешь? . .

Вытянувшись, Ефим стоял перед ротным и тупо моргам глазами.

— Извольте полюбоваться, — обратился ротный ко мне, когда нетерпеливым кашлем я дал, наконец, знать о своем приходе. — Взгляните на это рыло! . . Взгляните только! . . И оно. . . — поручик Ауэ захохотал. — . . . оно — это вот рыло, — веру в ар-ми-ю и в победу потеряло! . . — И обернувшись к нам спиной, он бросил шашку на уставленный деревенскими закусками стол, и быстро налил стакан водки.

— На! Подвиньти-ка нервы, барбос! . .

Ефим взял стакан, поднял его и уже приложил к губам.

— Стой! — закричал вдруг штабс-капитан Карнаоппулло, одиноко сидящий в углу халупы. — Стой! За чье, дурак, здоровье? . .

— За ваше, господа офицеры.

— То-то! . . .

* * *

— И знаете из-за чего весь разговор завязался? — криво улыбаясь, спросил меня ротный, когда, уже за дверью, Ефим облегченно вздохнул. — Май-Маевский сдал командование генералу Врангелю. Ну вот. . . А этот. . . халуй этот, понимаете: «Кому не сдавай, говорит, все равно — кончено! . .»

Поручик Ауэ замолчал. Его шрамы на лбу скрестились.

— Впрочем, бросим ненужные разговоры! — Он поднял бутылку на свет: — Барбос, всё вызудил! . . — и сразу же переменив тон, обратился ко мне снова:

— Только что скончался от ран поручик Петин. Да. Не выжил. . . В полдня скрутило. . . Потому, пока-что вы примете пулеметный взвод. У начальника команды под рукой никого нет, а чорт его знает, где Туркул сейчас офицерскую носит. . . Итак, кому вы предлагаете сдать ваш, 2-й? . .

— Может-быть Нартову? . . Офицеров на отделениях у нас сейчас нет. . .

Штабс-капитан Карнаоппулло, чистивший, развалившись на лавке, ногти, поднял голову:

— Не лучше ли Свечникову? . .

— Хорошо, сдайте Нартову, — не обращая на него внимания, сказал ротный, проводя пальцами между волосами. — Чорт возьми, но чорт не берет! . .

— Ах, поручик, бросьте ипохондрию! — Штабс-капитан Карнаоппулло вдруг захохотал и, приподнявшись, ощетинил вперед всегда покорные усы: — А как вы его шашкой-то! . . А? . . Ефима! . .

Я вышел из халупы.

БАРОМЛЯ.

Когда мы входили в Баромлю, тяжелые и мокрые сумерки уже ползли по улице. С крыш капало.

«Опять оттепель! . . Что за чертовская зима! . .»

Облокотясь на пулемет, установленный на широкие удобные сани, я плавно покачивался. За мной шли сани со вторым пулеметом, за ними — третьи, с пулеметными лентами

и запасными принадлежностями. Пулеметчики, — всего пять нумеров, — свесив с саней ноги, уныло тянули какую-то бесконечную солдатскую песню.

— Здесь в Баромле, говорят, весь полк соберется. — Песня оборвалась.

— Говорят, всему полку и сани, наконец, подыщут.

— Без саней не выскользнешь. . .

— Ясно!

— А куда скользить-то?

— Тебе, Акимов, в Костромскую бы только! Эх, старик, старик! . . На Дон двинем.

— На До-о-н? . .

* * *

Уже стемнело. . .

В нашей халупе горел огарок свечи.

— Шлея порвалась, господин поручик.

— Зашей! . .

Акимов обернулся, и через плечо посмотрел на меня.

— Лошадь не в портках, господин поручик, ходит. Здесь специально шить нужно. . . А ну, хозяюшка, — он встал и подошел к хозяйке, — дратвы, до просмоленной, может нету?

Хозяйка, немолодая женщина, с четырехугольным, как ящик, лицом, кормила ребенка.

— Нету у меня.

— Нету? Это в хозяйстве-то? А может шлея найдется? Лишняя какая. . .

— Ишь ловкие! Сами хозяйства крестьянские поразорили, а теперь еще спрашивать! — Она поднесла ребенка в другой груди и стала причмокивать губами.

С лавки приподнялся ефрейтор Лехин.

— Не задаром, хозяйка. Не задаром ведь, милая! Вот подожди ка! . . — Он вышел на двор, достал из-под брезента саней пяти-фунтовый мешок соли и вновь вернулся.

— Есть шлея? . .

— Как же? . .

— Не новая, конечно! . .

Хозяйка хлопнула ребенка ладонью — А ну, милой! — Ребенок отрыгнул. — Это за пять-то фунтов новую? Больно уж ловкие какие! Надежная, говорю, шлея. . . — Она передала ребенка протянувшему руки Лехину. — Который в сарай-то со мной сходит?

— В сарай не велено. Арестованный там.

— Арестованный?.. Кто? — удивился я.

Акимов не знал.

— Но кто посадил? И зачем у нас? Разве дворов мало?

— А уж это господина капитана спросите... Карнаоппулло.

С хозяйкой пошел я.

* * *

Под воротами сарая стоял часовой, рядовой моего бывшего взвода Зотов, веселый и всегда находчивый малый. На дворе было сыро. Чтоб не стоять в воде, Зотов натаскал под ноги замерзлые пласты прошлогоднего навоза.

— Молодец, Зотов! Так не утонешь.

Замка на дверях не было. Я взялся за мокрые доски.

Арестованный сидел в углу на опрокинутой вверх дном кадушке. Лица его я разобрать не мог. В сарае было совсем темно. Когда я подошел ближе, арестованный даже не поднял головы. На нем была черная куртка, кажется, кожаная; она блестела под узкой полоской света, пробивающегося в щель дверей.

«Не солдат, кажется... Мужик...» — подумал я, встал на какой-то ящик, нащупал в темноте шлею и вышел во двор.

— На! Неси моим хлопцам!.. — И, бросив шлею хозяйке на руки, я пошел к халупе подпоручика Морозова.

* * *

— А что, он лучше других трусов?.. Кто — где; а они всегда на задворках расходятся... Там, — где не стреляют...

Выйдя во двор, подпоручик Морозов взглянул на черное небо.

— Снег будет!.. — сказал я... — Или дождь даже...

Подпоручик Морозов молчал, сдвигая на брови взлохмаченную папаху.

— А за что? Знаешь, за что... За кожаную куртку! Нет, надо пойти к ротному. Хотя и тот с изъяном, но все ж, когда нужно, сволочей натягивает.

Под ногами бежала вода. Какие-то редкие капли капали и на фуражку.

— Поручик Величко на дивчат заглядывал... — спеша и сбиваясь, рассказывал мне подпоручик Морозов. — Зотов

песню тянул: «Пускай моги-ла»... Вдруг Карнаоппулло как сорвется с саней со своих, да закричит как: «Комиссар!» — да на всю улицу. Кинулся. Что за чорт?.. Кого?.. Ждем... Ты как раз с пулеметами проходил. Неужели не заметил?.. Ничего?.. Ну так вот... Ведет, наконец. Парень, как парень. Очевидно когда-то в инженерных служил. Куртка на нем кожаная. Капитан, кто это?.. А Карнаоппулло на него, знаешь, — бочком так. Петушком, — петушком!.. Сопит, хрипит. Мать, и опять мать!.. Разошелся: «Куртка? — кричит. — Свои, думал? Выбежал? Встреча-ать?»... — и в зубы ему — бац! — наганом...

— Ну а ротный?

— Ротный?.. Тот как раз в трансе находился. Лежит глаза блуждают... Сам с непривычки ерунду всякую мелет: «Россия! Да раскрой ее до сознания национального!» Да птицы какие-то... «Орлы! Чайки!»

Я удивленно посмотрел на Морозова.

— Птицы?

— Господи ты, боже ты мой! Да неужели не знаешь? И этого? Ну да, — кокаинится, ведь!.. Все последнее время... С неудач...

Мимо нас, хлюпая о сапоги мокрыми шинелями, прошло несколько команд, штыков по 10.

— Нартов, куда? — крикнул я, узнав в темноте высокую, худую фигуру.

— По дворам, господин поручик. Сани сгонять. Завтра, бог даст, панами двинемся!.. Ого-го! Айда-а!

Где-то очень далеко залаяла собака. Ей ответила другая, уже ближе к нам.

— Жаль! — сказал Морозов, останавливаясь. — Завтра придется... Спит уже!..

В халупе ротного было темно.

* * *

— Ну, покойной ночи... — Мне показалось, подпоручик Морозов уныло улыбнулся. — Покойной... с поправкой: на время, конечно.

В халупе у моих пулеметчиков все еще горел свет. От освещенного окна темнота на улице казалась еще темнее. Я отыскал протянутую руку и крепко ее пожал. Но вдруг,

подпоручик Морозов насторожился и, освободив руку, сделал несколько шагов к забору: — Кто там?

Под забором, пытаясь скрыться от наших глаз, кто-то стоял.

— Кто там? Эй! — вновь крикнул подпоручик Морозов, быстро зажигая карманный электрический фонарик.

— Что за пропасть!

— Фу, чорт!

Я сплюнул, вновь застегивая кабуру нагана.

Под забором стояла женщина, маленькая и такая худая, что в первый момент показалась мне девочкой. Кутаясь в платок, она смотрела на нас большими испуганными глазами.

— Слушайте. . .

— В чем дело?

Мы подошли. Но женщина, скользнув глазами по нашим погонам, вдруг испуганно метнулась в сторону и, взмахнув платком, быстро пропала в темноте.

. . . Щупая густой мрак, луч фонаря наткнулся на забор. С забора скользнул вверх, в пустоту, но пустоты пронзить не мог.

— Покойной ночи!

— До завтра. . .

Я вошел во двор. На посту, возле сарая, стоял Ленц.

— У нас на дворе стоит часовой. Дневальных сегодня не нужно, — сказал я, стягивая с плеч шинель.

Ефрейтор Лехин задул свечу.

Проснулись мы от громкого крика.

Быстро вскочив, я подбежал к окну. Было уже светло. По двору, ветряком размахивая руками, метался штабс-капитан Карнаоппулло. Папаха его съехала на затылок.

— Под суд! Под суд тебя, негодяй! — кричал он. — К командиру полка! . . Что мне ротный! . . К командиру полка! . . — Я распахнул окно.

— Капитан! . . В чем дело, капитан? . .

— Да я тебя! . . Отстаньте, поручик! . . Да я таких. . . Да я-а-а расстре-е-е. . . Стой!

Из открытых дверей сарая выбежал Нартов. Штабс-капитан Карнаоппулло бросился за ним, поймал, схватил за ворот шинели, но Нартов вырвался и скрылся на улице.

— Что у них случилось? — спросил я Лехина, без шинели, в одних сапогах поверх бурых кальсон, вернувшегося в хату. За Лехиным шла хозяйка.

— Окно зачините. Зябко! . .

В люльке надрывался ребенок.

— Едри его корень! Ну и дела, господин поручик!

Лехин сел на лавку.

— Уж я по порядку. Повремените! ... Под утром еще, значит, — начал он наконец, растягивая каждое слово, — когда еще только светать зачинало. . .

Опять заскрипели ворота. Штабс-капитан бежал уже вдоль улицы. Шашка хлестала его по сапогам. Маленький, усастый, со свирепыми, круглыми глазами, он был похож на «турка», как рисовались они на карикатурах «Огонька» и «Панорамы».

— Ну? . . Да рассказывай, Лехин!

Вот что рассказал мне ефрейтор Лехин. . .

Под утро, когда штабс-капитан Карнаоппулло пришел к нам во двор, чтоб проверить пост при арестованном, — а может. . . — в этом месте рассказа Лехин задрал голову вверх и щелкнул себя по затылку, — а может. . . Вы понимаете, господин поручик? . . — ни арестованного, ни часового Ленца во дворе не оказалось!

Хозяйка, вышедшая накормить скотину, злыми глазами взглянула на штабс-капитана, боясь, очевидно, за свои погреба и кладовые.

Как раз в это время во двор — оправиться — вышел и ефрейтор Лехин.

— Лехин, что такое? Где часовой?

— Ах, солдатика ищете? — подошла к штабс-капитану хозяйка. — Солдатик ваш, да с Петром, тем, что в сарае сидел, ушли куда-то. . .

— Куда?

— А я знаю? К большакам, что ли! . .

— У господина капитана, — рассказывал Лехин, — споначала и голос даже сорвался, а баба, ядри ее корень, не унимается, — ей бы только язык чесать; рада небось — клетушки в сохранности. . . . . . «И чудно ж, говорит, разъяснялись! . . Солдатик-то ваш не русский, видно. . . Татарин, аль немец. Не разобрала, чего лопотал-то. . . А ушли вместе, как же, и Евзопия с ними». . . Тут господин капитан на нее, да

вплотную: «Какая Евзопия?» — и бабу за руку, значит. А та: «Говорю — не хватайся! Не ухват тебе буду! .. Которая говорит, под воротами стояла. Жена Петрова, говорит. Ахтырская. Год назад по большевистски венчаны. . .»

— Вот оно, господин поручик, происшествие какое! — окончил Лехин. — Сиганули. А Нартов, с напугу и объясниться не мог. А неповинен он. Всю ночь до утра самого сани сгонял. Весь взвод в расходе находился, — вот Ленц и стоял на посту. Ему где было, немцу, с мужиками ругаться.

Я вышел во двор.

На мокром снегу под воротами лежала карамель в пестрой, веселой бумажке. Вторая была втоптана в нанесенный Зотовым навоз, уже успевший за ночь оттаять. Дверь в сарай была открыта. Я вошел. Наткнулся в углу на аккуратно сложенные винтовку, патронташ и подсумок. На подсумке лежала какая-то бумажка. Я поднял ее и подошел к свету.

«Zurück an die 6 Kompagnie».

Готические буквы лежали на боку. Книзу расползались лиловыми кляксами. Очевидно, Ленц то и дело мочил чернильный карандаш.

Я хохотал, покачиваясь.

— Сумалишенные, — одно слово! .. — кому-то за дверью сказала хозяйка.

К забору подошли солдаты других рот. Заглянули в ворота. Потом прибежал связной.

* *
*

В степи, к северу от Баромли, наша застава сдерживала редкую цепь красных.

2-й батальон выступал на позицию. 1-й и 2-й уже отступили из Баромли.

— Подтянись! .. — командовали ротные. Полозья саней цеплялись о полозья. Оглобья били об оглобья.

— Под-тя-ни-и-ись!

. . . — Где там! .. Нет, Харькова мы не удержим! .. — глухо сказал подсевший ко мне в сани подпоручик Морозов, отвернулся и долго сидел со мною, молчаливый и унылый, вращая на пальце узенькое обручальное кольцо.

На окрайне Баромли, где отколовшись от загибающей к северу дороги сбегали к ручейку белые украинские

мазанки, горел деревянный дом, — приземистый и туполобый. Огонь уже сползал с крыши на косяк дверей. Сквозь разбитые окна валил бурый густой дым.

— Что, снарядами? — спросил я двух мужиков, безучастно стоящих над оврагом.

— Мы не сведующи. — Мужик повыше расправил широкую черную бороду. — Мобыть и подожгли. Снаряды здесь будто бы и не падали. . .

— А чей это дом? — И, взяв у Лехина вожжи, подпоручик Морозов на минуту придержал лошадь.

— Который? Этот-то? . . — Чернобородый указал пальцем на пламя. — Рыбова это изба будет. В 16-м строил. Рыбова, Петра. . .

— Петра? . . Постой! . . А не у него ль, — да как ее! . . — не у него ль жену Евзопией звать? А? . .

— Как же! . . Евзопия. . . У него. . . А как же! . . — обрадовались чему-то мужики. — Это уж, безусловно, правильно! . .

— Ше-с-та-я! — кричал в голове роты штабс-капитан Карнаоппулло. — Шестая! По-д-тя-нись!

* * *

— А ну! гони их! А ну!

Поручик Ауэ бежал перед цепью, то спотыкаясь и падая, то снова взбрасывая плечи, точно играя в чехарду. — А ну! А ну их! . .

Сани с моим пулеметом прыгали по сугробам.

— Тяни! Тяни за ленту! По-ва-ра-чи-вай! — Но лента не подавалась. Пулемет первого отделения отказывался работать.

Под бугром, вдоль смятой лавы красных, также метались какие-то утопающие в талом снегу сани.

— По саням! Бей по саням! — кричал ротный. — По комиссару! . . Еще! Еще!

Лава красных быстро отходила.

— Господин полковник приказали доложить, — докладывал ротному связной батальонного, — 6-я отойдет последней.

Ротный стоял над брошенными санями красных и рубил шашкой подвязанную к козлам корзину.

— Посмотрим! — Шашка его блестела на солнце. — Посмотрим, — раз! два! — Посмотрим, что барбосы эти, —

раз! два! — с собой — раз! два! — возят. . . Раз! — Ишь, чорт дери! Туго!

— Да сильнее, поручик! — подзадоривал ротного штабс-капитан Карнаоппулло. — А ну, Свечников! . . Свечников, сюда! . . Штыком попробуй!

Тугая крышка корзины, наконец, поддалась. Карнаоппулло быстро наклонился и опустил в нее руку.

— Ишь, барбосы!

За ротным отошел и разочарованный штабс-капитан.

Перевязанные светло-лиловой лентой, в корзине лежали детские рубашонки, панталоны и розовое стеганое одеяльце.

Я вдевал в пулеметные ленты новые патроны. Рядовой Едоков, 2-й № первого пулемета, гладил «Акима», нашу лучшую лошадь, только-что раненую в шею. Скосив глаза, лошадь стояла, покорно опустив голову. Редкие капли крови падали на снег.

— Еще, господин поручик? — спросил ефрейтор Лехин, сворачивая 6-ю ленту.

— Хватит, пожалуй!

Я выпрямился. — Ну, закурим, что ли? — и, вынув из кармана коробок спичек, стал спиною к ветру.

Шагах в 25-ти от меня на опрокинутых санях красных сидел подпоручик Морозов. Думая о чем-то, смотрел вдаль.

— Чорт дери! — сказал я Лехину и, бросив спичку, глубоко вздохнул. — Чорт дери! А Харькова мы, пожалуй, не удержим.

За тучу зарывалось солнце. Ветер крепчал. Прошел ротный фельдшер. — Сюда! Сюда! — кричал ему с 3-го взвода поручик Величко. — Сюда-а!

. . . О чем думал подпоручик Морозов, я не знаю.

ЧАСТЬ II

(ноябрь 1919 — март 1920).

В степях клубились ветра. Голый ивняк за селами пытался выбиться из-под снега, хлестал ветвями по низкому серому небу, шаг за шагом ползущему за нами.

Все время оглядываясь на север, выслав дозоры на юг, восток и запад, недели две отступали мы, потеряв всякую связь с соседними частями, не зная, откуда набежит неприятель, а если собьет, — куда отходить. По ночам огрызались: на север, на восток, на запад. . .

А в те немногие ночи, когда красные не наседали, было слышно, как гудят широкие снежные дали черных степей.

Кто-то, как и мы, пробирался к югу. . .

ОДНИ ПОД ХАРЬКОВОМ.

Ночь была беззвездная.

Переутомленные лошаденки из последних сил волочили ноги. Многонедельная оттепель сняла почти весь снег, и сани увязая полозьями в мокром песке дорог, протяжно и тяжко скрипели.

Никто из солдат на санях не сидел. Побросав в них винтовки, вне строя, молчаливо и угрюмо тянулся полк вдоль ночной черной дороги. Я держался возле пулеметов и, с трудом подымая отяжелевшие веки, пытался итти прямо. Но усталость качала меня со стороны в сторону; мне казалось,— тяжелая степь вокруг нас то подымает, то опускает горизонты и кружится, кружится — медленно и ритмично.

— Что, господин поручик, занедужилось? . . А ну-т-кась! Ну-к-сь, милая! — и, хлестнув лошаденку, Едоков, как и я, качнулся вдруг в сторону.

— Соснуть бы! Эх, жисть!..

Три дня тому назад мы приняли последний бой, в котором наша рота забрала у красных пулемет, теперь 3-й в нашем взводе. В этом же бою Синька и Лобин, прикомандированные к моему взводу унтер-офицеры, были убиты.

— Три пулемета, а людей нет! — вздыхал ефрейтор Лехин. — Не везет же!..

— Эх, и везет-то не во время! А ну-т-кась, ну-ксь, милая!

Казалось, — ночи не будет конца.

* * *

— Осади!.. Осади-и...

— Что за город?..

— Не напирай, косой дьявол, чорт!.. Не видишь, — стоим ведь!

Вдали виднелись редкие огни какого-то города или местечка.

— Харьков?

— Москва!

— Нет, правда, что за город?

— Люботин это, — сказал подпоручик Морозов и, опустившись на сани, стал жадно, — в кулак, — курить. Я также подошел к саням, сел и, прислонясь к пулемету, вынул махорку. Но скрутить я не успел. Темнота меня медленно и плавно закружила, опустила во что-то мягкое и теплое и потекла надо мною, все глубже и глубже толкая в сон.

... Когда я проснулся, сани уже вновь скрипели по песку. На мне лежала чья-то шинель. Я сбросил ее с лица.

— Едоков!..

— Так точно!

Едоков шел в одной гимнастерке.

— Что это?.. Зачем?..

— Это я, господин поручик, чтоб не согнали вас... ротный аль батальонный... Легайте, легайте!..

Но я встал. Оглянулся. Мне показалось, — полк идет в обратную сторону.

— Куда мы?

Едоков пожал плечами.

— Лехин, куда мы?

— Люботин, господин поручик, занят. Обходим.

. . . Лошади хрипели. Медленно всплывала желтая заря.

* * *

— Распрягай!

— Эй! Не велено! Заводи! Заводи за угол!

Вдоль крайних хат какой-то небольшой деревни длинными рядами выстраивались сани.

Нам было приказано выставить дневальных, по одному на две роты, — и выспаться, пользуясь трехчасовым привалом.

Я уже взбивая в санях солому, когда подошел связной.

— Господ командиров — пулеметчиков к батальонному!

. . . На улице в санях, около и под ними храпели солдаты.

* * *

На крыльце халупы батальонного стоял начальник пулеметной команды.

— Господин капитан, — обратился к нему я, — у меня, господин капитан. . .

— Но у меня нет нумеров! Возьмите в роте. . .

Договаривать нам было незачем, — капитан знал состояние взводов.

— В роте, господин капитан. . .

— Но что я, рожать их могу, что ли?

— Господин капитан. . — подошел к нему взводный 1-го взвода.

— Нету у меня саней! Господа, у меня же. . .

— Но разрешите, господин капитан. . .

Капитан обернулся и быстро скрылся за дверью.

— Чорт дери! . .

— Да-с, положение! . .

Мы стояли, растерянно глядя друг на друга.

Наконец в сени вышел полковник Петерс.

— Господа. . .

Одна сторона его лица подергивалась, тени быстро бежали под складку рта.

— Вот что, господа. 1-й батальон побросал три пулемета. Пре-ду-пре-ждаю: если подобное случится и в моем батальоне, виновный взводный будет отдан под суд. Понятно?

— Но, господин полковник. . .

— Оправдываться, господа, будете под судом. От офицера я требую проявления офицерской инициативы. Мне нет до нее никакого дела, но пулеметы чтоб были вывезены. Понятно? А теперь — можете итти...

Мы расходились.

— Чорт дери!..

— Да-с, поло-жень-и-це!

— А главное, в деревнях ведь не то что лошадей — и козы не найдешь...

«Спать, спать, спать!» — думал я, идя, спотыкаясь, по улице. Лошади моих саней стояли распряжены.

— Не бей! «Аким» не пойдет... Все одно! Распрягай! Живо!

Полк уже выходил из деревни.

— Поручик, нагоните? — обернувшись, крикнул мне ротный.

— По-ды-май! Та-щи вы-ше!.. Та-щи-и!..

Подвязав пулеметы к одному концу натрое сложенных вожжей, станок к другому, Лехин, Едоков и Акимов вьючили Ваську, нашу вторую лошадь. Но тяжесть пулемета и станка с обеих сторон давила на ребра лошади. Лошадь не могла дышать и, медленно, точно в цирке, приседала.

— Ничего не поделаешь, господин поручик! Может, оба на одни взвалим? — продолжал Лехин, приглаживая выпавшие из-под фуражки, потные волосы. — Васька уж постарается, едри его корень!.. Не выдаст, может...

— Пожалуй...

И вот мы закричали:

— Идет! Идет!..

Васька косил. Кожа на спине его ходила гармошкой.

— Идет! Эээ-эй! Вытянул!..

Мы примкнули к обозу 1-го батальона, идущего в арьергарде.

Быстро перебирая передними ногами и далеко назад выставляя задние, Васька тянул два пулемета. Машка — третий. Мы подталкивали. Акимов вел под уздцы раненого под Баромлей «Акима».

Третьи сани мы бросили.

* * *

. . . . . их к матери, пулеметы эти! — обгоняя нас, крикнул какой-то офицер из последних саней обоза. — Пропадете! . .

— И вся твоя панихида! . . — крикнул за ним второй.

Васька сдавал. Останавливался каждую минуту.

— А ну-т-кась, ми-лый! . . ми-и-лый! . . — подбадривал его Едоков жалобно, точно плача, растягивая слова.

— Погибать, видно! — ворчал Акимов.

Прошли с версту. Не больше. Полк уже скрылся.

* * *

— Снимите погоны, господин поручик. Бывает, что и не расстреливают. Ей-богу. А мы выдавать вас не станем, — сказал Едоков, обернулся и, подняв ладонь к лицу, стал смотреть на север.

Ефрейтор Лехин сидел на ободнях саней. Смотрел на землю.

— Может, замки повынимаем и пойдем все же?

— Все одно погибать! . .

Я не отвечал. Думал о том, как впречь всех трех лошадей в одни сани.

Но вдруг, толкнув меня, Лехин быстро приподнялся.

— Господин поручик! . . Хохлы! . . — закричал он. — Гляньте, господин поручик, едут, едри их корень, едут! . .

По дороге, нам навстречу, шло двое саней.

— Не утекли б только, едри их корень! . . Ведь учуят, чего поджидаем, ах ты. . .

Но сани приближались.

— Стой! . .

— Стой, говорю! . . — И быстро впрыгнув во встречные сани, Лехин вырвал вожжи из рук дремавшего мужика.

— Поворачивай! — кричал Акимов, схватив за морду лошадь вторых саней.

Разбуженный Лехином крестьянин испуганно вскочил с рогожки и содрал с головы линялый и мятый картуз.

— Рòдные! . .

— Поворачивай!

— Рòдные! . . Помилосердствуйте! Аль не хрестьяне? . . Аль без понятия вовсе! Второй месяц, как от хозяйства! . . Рòдные. . .

Его рыжими, под горшок подстриженными волосами, играл ветер.

— Разберите, родные, по всей справедливости! . . — бабьим голосом молил подводчик, доставая из кармана шаровар какую-то мятую бумажку. — Ваши вот выдали. . . Не тронут, говорили. . . Сам писарь говорил. . . Потому, говорил писарь, законно мы действуем. . . А где ж законно, родные. . .

. . . «Дано сие крестьянину села Дьячье Орловской губернии Власову Антипу» — с трудом разбирал я замытые водой слова, — «в том, что вышеупомянутый крестьянин Власов отпущен нами по несении наряда, что подписью и проложением казенной печати удостоверяется.

«За к-ра 9 роты 1-го Ударного Корниловского полка — писарь» — неразборчиво.

Ниже:

«Декабря» — опять неразборчиво — «дня 1919». В правом углу удостоверения расползалась круглая ротная печать.

— Жаль мужика! . . — вздыхая над моим плечом, сказал Едоков. — Смотри ка, — орловский! . .

— Всех жалеть будем. . .

— Всех, Лехин, не всех, а одного можно! . . Отпустим? . .

Рыжебородого мы отпустили. . .

* * *

— Скажем, к примеру, большевики. . . — рассуждал второй подводчик, уже следуя за нашими санями. — Кому не известно! . . Обижают! . . Да все больше насчет скота и хлеба, а ваш брат и насчет шкуры не совестится.

— Насчет какой шкуры?

— А той, что под штанами . . У мужика она хошь, говорят, и толстая, а все ж чувствительно. . .

* * *

Приморозило. . .

«За Уралом за рекой» — вполголоса напевал Едоков. . .

Наконец, показался и Харьков.

— Пожалуй, в Харькове не разживешься. . . Лавки, пожалуй, закрыты. . . Идем! — сказал я, взял снятую с «Акима»

упряжь, и вместе с Едоковым пошел в маленькую, покосившуюся хату, одиноко стоящую на краю дороги.

В хате было темно.

— Здорово, хозяин!

— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте!.. — кланяясь седой, приглаженной головой, ответил мне с лавки старик-хозяин. — Здравствуйте... наконец-то!..

По малиновой тулье моей фуражки он принял меня, очевидно, за красного.

— Постой! Товарищи придут через час. А пока, вот что старик, — угости хлебом! — Я бросил на лавку упряжь. — Возьми вот... Заместо денег это!..

— Нам, товарищи, что деньги... Мы...

— Да кадеты это! — перебил старика чей-то угрюмый голос из темного угла хаты.

— Ще кадеты?..

— Всем, старик, и кадетам пожевать хочется. А ну, старик, дашь, что ли?.. — Я торопился.

— Верно это!.. На то нам господом-богом и зубы даны... Хочется... — а как же?.. — Это ты верно говоришь! — Старик подтянул портки.

Он обернулся к нам спиной и стал шарить на полке.

— Кадеты это!.. — вновь, еще угрюмее, прогудел в углу тот же голос.

— Пущай кадеты!.. Уж пущай!.. Ладно!.. Накормим! Ээх!.. — Шаря на полке, старик кряхтел. — А это ты правильное слово сказал... Да!.. Эх вы-и!.. Уж и я вам скажу тогда, — ладно!.. — Он вновь обернулся и посмотрел на нас с ясным, старческим спокойствием. — Пожевать, говоришь?.. — ну и жевали б себе хлеб с хлебушком... Да только вы, кадеты, позубастей других будете... Вот что!.. Смотри, скольких перемололи. И все — кому?.. — господам на угоду. Ну идите уж!.. Христос с вами!..

Из темного угла выросла рослая широкоплечая фигура молодого парня. Когда мы вышли на двор, парень молча закрыл за нами дверь. За дверью выругался матерным словом.

— Ну, а упряжь взял все же? — спросил меня Лехин, когда я, следуя с ним за санями, рассказывал ему о старике и сыне.

— Взял.

— Сука он, вот что! Едри его корень!

ПО ПУСТЫМ УЛИЦАМ.

Возле каждых саней, на которых с уже продетыми лентами и поднятыми прицелами, были установлены наши пулеметы, шло по солдату. Я шел впереди, держа в руках винтовку.

Подводчик следовал за последними санями, — немного поодаль.

— А коль застрекочет? . . Да бои начнутся? . .

Людей на улицах почти не было. Немногие встречные быстро сворачивали в ближайшие переулки. Другие жались к домам, исподлобья или удивленно на нас поглядывая.

Очевидно, добровольцы давно уже оставили Харьков.

— Эй, послушай! — подозвал я какого-то не успевшего свернуть прохожего. От одежды его несло рыбой. Очевидно, он был продавцом из рыбных рядов. — Скажи-ка, когда здесь последние добровольцы проходили?

— Ночью прошли.

— Ночью? . . А какие части? . .

— Не разбираемся. . .

Продавец косился на крайний пулемет, но встречаясь глазами с глубокой, черной точкой канала ствола, сейчас же опускал голову.

— А что, про красных не слышно?

— Был конный разъезд. Утром еще.

— Ну? . .

— Ну а теперь не видно что-то.

— Разъезд? . . Да, господин поручик, был разъезд. . . — подбежал к нам какой-то остроносый реалист лет 14-ти. — И теперь, говорят, возле вокзала «Южный» другой, — тоже конный — показался. Буденного.

— Подгони!

Лехин оглянулся и, взглянув на меня, быстро ударил по лошади.

— На Северо-Донецкий! . .

* * *

. . . — Едри его корень, — Буденного! . . Сперва казаков расшвырял. . . До нас теперь целится! . .

— А ну — минутку! . .

Я подбежал к какой-то лавчонке с закрытыми наглухо ставнями и ударил кулаком о двери:

— Отвори!.. Эй вы там!.. Отворите!..

Дверь взвизгнула. Кто то выглянул, но тотчас же скрылся, вновь захлопнув ее за собою.

— Да отворите! За папиросами здесь!.. Послушайте!..

За дверью вполголоса разговаривали.

«Сейчас отворят!» — подумал я, но дверь не отворялась

Тогда я поднял винтовку и ударил прикладом.

— От-во-ри-и...

Дверь на мгновенье опять приоткрылась. Худая женская рука быстро выбросила несколько коробок папирос. Когда я за ними наклонился, замок над ухом щелкнул снова.

— Эй, сколько тебе?.. Дура!.. Да сколько?..

А Лехин возле саней уже беспокоился:

— Господи поручик! Да идите, господин поручик!..

Прикрепив к замочной скважине пятирублевку, я побежал к саням.

Закурив, я вновь обернулся. На площади перед лавкой пятирублевкой моей играл ветер...

...— Если что, тебя, брат, не тронут...

Подводчик недоверчиво часал затылок и испуганно смотрел на меня.

— Да кто же тронет, дурак?.. Не солдат ведь!.. А ну ступай!.. Ступай-ка!.. Вот, — так вот прямо и пойдешь. На Северо-Донецкий... Порасспроси и узнай, кто там, — наши аль красные...

Ожидая подводчика, мы сидели на санях и курили.

Над городом висела тяжелая, мертвая тишина.

Одиночные приглушенные выстрелы изредка доносились только с Нагорной стороны. Около нас, на Скобелевской площади и Змиевской было тихо и пусто.

Вечерело... По рамам верхних окон карабкалось солнце. Солнце не грело. С крыш уже не капало.

— Поручик!

Я быстро обернулся.

Передо мной стояла девушка, почти подросток.

— Послушайте, можно мне итти с вами?

Я приподнялся. Взял под козырек.

— Простите, а куда вам?

Выстрелы с Нагорной донеслись отчетливей. В конце Змиевской кто-то махал картузом и кричал, сипло и надрываясь: — Митька-а-а! . .

— Мне, поручик, на Лиман. К матери я. Я уже пятые сутки в дороге.

Подошел Акимов:

— Куда нам, господин поручик, с девками! если б солдат был, аль мужчина. . .

— Круг-ом!

Акимов повернулся. Отходя ворчал.

— Иди, иди! — крикнул я ему вслед. — Не суйся!

. . . — Да, поезда уже ушли. Я была на вокзале.

— В таком случае должен вас предупредить: на сани вы рассчитывать не можете.

— Я, поручик, умею ходить.

— А если задержка? . . Бой? . .

— Я не боюсь.

Я улыбнулся.

— Хорошо. Следуйте за нами. . .

Девушка крепко, по-мужски пожала мне руку: — Спасибо! — потом отошла в сторону.

Ей было лет 18, не более. Над ее круглым, энергичным лицом бежали черные змейки-волосы. Глаза, чуть-чуть раскосые, глядели решительно и твердо.

Вернулся подводчик.

— Пусто там, господа, а армейцев будто бы нету.

— Трогай!

* * *

Ветер хлопал раскрытыми настежь дверьми вокзала. Крутил на перроне бумаги. На запасных путях грабили какой-то брошенный эшалон.

— Что же делать?

Загнанные в тупик пустые теплушки стояли без паровозов. В телеграфном помещении дремал кот. Провода были перерезаны.

— Чорт дери! . . Что же делать?

Я решил уже спускать сани под отлогую дорогу, идущую вдоль железнодорожных путей, когда ко мне подбежал Лехин.

— В депо, господин поручик, паровоз стоит. И топится. Машиниста тоже изловили. Ядри его корень, прятаться думал. Я к нему Акимова приставил. Идемте!

Паровоз оказался маневрованным, вдобавок еще больным.

— Все равно! Эй! . .

Паровоз шипел, заливая кипятком падающие на шпалы угольки.

Минут через 20, прицепив к паровозу теплушку, мы погрузили пулеметы, оставили подводчику сани и всех наших лошадей, и медленно двинулись к югу.

На паровозе, рядом с машинистом, стоял Лехин.

. . . Уже бежали низкие вокзальные строения.

— Смотрите, господин поручик! Смотрите, — грабят! . . — крикнул Едоков, высовываясь из дверей теплушки.

Около вагонов брошенного эшалона толпился народ. По нагруженным на открытых площадках мешкам тоже карабкались какие-то люди.

— Смотрите, смотрите! . .

Высокий мужчина в коротком, подбитым мехом полушубке балансировал по узкой доске, брошенной с вагона на насыпь. Мешок, взваленный на его спину, был порван. Из него сыпался сахар.

— Девинэ! . . — крикнул я, приподымаясь. — Девинэ! . .

. . . Гремели колеса. Под откос набегали поля.

С Девинэ я больше не встречался. . .

КСАНА.

— Ну а что дальше, Ксана Константиновна? . .

Ксана Константиновна, наша новая спутница, рассказывала мне о пережитом ею за последние годы.

Дочь расстреленного в Чугуеве военного инженера, она жила с больной матерью в Лимане. Оба ее брата, поручик-артиллерист Жорж и кадет Сумского корпуса Костя служили в Добровольческой армии.

— Как будто б и мне полагалось поступить. . . в сестры, хотя бы. . . — рассказывала Ксана. — Не правда ли? . . А вот, не поступила! . . Не все романы и повести по шаблону пишут, поручик, а живется — и всё. Я говорю: или всё

или: здесь не моих рук дело.. Отступаю!.. Таких, как наш Жорж, я не понимаю, поручик; органически не могу понять. Смотрите: Жорж всегда на фронте; его ранят — он вновь на фронт едет... А добровольцев не любит. Мы, говорит, он, победы хвостом заметаем. Так чего ж огород городить, спрашивается? Вот Костя, второй, это...

Я выглянул за дверь.

— Простите!..

Смотрел, не отрываясь вперед.

— Одну минуту!

... Снежный холмик за железнодорожным мостом круто выростал за виадуками. Очевидно, поезд шел быстро, но мне казалось, колеса под вагоном медленно переворачиваются. Одно колесо, не смазанное, зловеще гудело.

Ближе и ближе подымался мост перед нами. Еще ближе... Еще...

— Ксана Константиновна, вы понимали... опасность? — спросил я, когда железнодорожный мост остался, наконец за спиной.

— Ну и что же?

— Так почему ж вы?..

— Что почему? — Она улыбнулась. — Слушайте... Я же, как дочь военнсго, великолепно понимаю, что не каждый офицер пехотинец знает, где и как ищут эти пироксилиновые шашки. Но ведь и я этого не знаю... А ехать нужно... Чего ж панику сеять?.. Так?.. Вот и проехали ведь!

Уже темнело... Едоков и Акимов дремали. В дверь теплушки хлестал ветер.

... Когда брата Жоржа ранили в третий раз, Ксана Константиновна, не сказав об этом больной матери, уехала в Сумы, где, по слухам, должен был лежать ее брат. Но Жоржа она в Сумах не нашла.

— В Бассах, под Сумами у меня жила подруга, — рассказывала Ксана. — Мама думала — у ней я, — а я уехала на фронт, полагая отыскать батарею Жоржа, — справиться. Но тут все завертелось, закружилось... Я на Бассы, а там — никого... Ни подруги, ни ее родителей, ни даже сторожа... такого седого, седого, — прямо дед рождественский!.. И куда этот потащился? Ну, ладно. Я, значит, снова на вокзал. Справа гремит... Слева... Паника... Я вскочила на бронепоезд, кажется на «Неделимую». А под Харьковом пришлось

соскочить. Офицеры приставали... Ну, а теперь с вашими «Максимками»... Вот и все!..

«Поезд» замедлил ход.

Молодой капитан, начальник бронепоезда «Казак», волновался:

— Но ведь вы стоите перед самым моим носом! А если красные?.. Ведь нельзя же допустить, чтоб пред самым бронепоездом болтался какой-то сортир!

Я возражал развязно. Думал: так крепче!..

— Я, капитан, не имею ровно никакого желания болтаться. И, если здесь разъехаться невозможно, надо податься назад, на станцию, где маневрируя, можно разойтись. Не так ли?.. Ведь, кажется — логика?.. Теплушку же и мой паровоз я сбрасывать под откос не разрешаю. Силой? Пожалуйста!

— Но вы офицер?.. По-дать-ся?.. Назад?.. Бронепоезду, прикрывающему отступление?.. Вы понимаете, что говорите?

— Понимаю и отвечаю. Конечно!.. Ведь непосредственно за нами красных еще нет. Итак, капитан?

В досаде капитан развел руками. Я отвернулся.

На станции толпились корниловцы 1-го полка.

— Поручик! — уговаривал меня какой-то офицер с выпавшими звездочками на погонах. — Отдайте пулеметы нашему полку. Под расписку, поручик... Конечно, под расписку... Не все ли равно? Ведь дроздовцы еще до Харькова свернули на Мерефу и пошли по линии Южной дороги. Искать их на Северо-Донецкой? Ах так?.. Бросьте, поручик!.. Теперь?.. Теперь пробираться на Южную? Сны весны, поручик, какая ерунда!.. Вы, кажется, не в курсе... А смотрите, — и корниловец показал на бронепоезд и на наш маленький, упершийся в него паровоз, — действительно, вы связываете действия «Казака». Ваше еще счастье, что он не сбил вас, когда вы подъезжали. Мы и так на вокзал повысыпали: это еще кто прет? Ведь «Казак» вышел последним. Отдайте пулеметы, а ваш ковчег Ноев...

Но я не сдавался.

— Дроздовцы, господин поручик, полку своему не изменники! — подошел к корниловцу черный от угля и масла Лехин. — Мы, господин поручик, из под самых...

— Сбросить их — и кончено! — глухо говорили корниловцы в кольце вокруг нас.

— Бабу везут!..

— Ишь, бардак на колесах!..

— Дро-о-здовцы!

С обеих сторон путей уже подымался едкий зимний туман. В окне вокзала зажгли свет. Потом свет вновь пропал. Очевидно, окно завесили.

Рассерженный упрямством капитана, я молча курил папиросу.

— Поручик, на пару слов! — кивнул мне вдруг какой-то штабс-капитан, со значком «Ледяного похода».

— С великим удовольствием.

— Так вот, — слушайте...

И он отвел меня в сторону.

Вскоре в мою теплушку грузили мешки с сахаром. Потом подвели двух волов. Долго, гикая и крутя хвосты, подымали их по качающимся доскам. Доски разъезжались.

— Не верю, что полковые... — сказал я Ксане, сдвигая пулеметы в один угол теплушки. — Ну, да все равно! Но что вы скажете про это соседство!

Ксана ничего не ответила. Обернулся Едоков.

— Ничего, господин поручик! Они нам заместо печей будут. Ведь теплом дышат... Эх вы ми-и-и-лые!

Опустив до копыт морду, в теплушку подымался уже и второй вол. Едоков тянул его за петлю, брошенную на крутые выгнутые рога.

— Эх ты-и! Ми-и-и...

Корниловец-первопоходник торопился. Торопился и начальник бронепоезда, с которым, как первопоходник и обещал, ни споров, ни прений больше не было.

Через полчаса мы тронулись. «Казак» шел перед нами. На следующей станции нам удалось разъехаться.

«Казак» пошел назад.

Лехина на паровозе сменил Едоков. Едокова — Акимов.

— Мороз, господин поручик. И ветер...

— Теперь я пойду, — сказала Ксана, взявшись за мою винтовку.

— Куда это?.. Нет уж, простите! — И я осторожно забрал у ней винтовку.

Было темно. В темноте я видел, как вкруг лба Ксаны бились освободившиеся из-под шапочки волосы. Ксана стояла, прислонившись к ребру открытых дверей, и смотрела на бегущие черно-синие, снежные дали.

Мы приближались к Змиеву.

. . . .

В Змиеве стояло несколько поездов с беженцами. Пути были забиты. Мы дожидались раскупорки уже второй день.

Холодное тихое утро сползало с насыпи. Я только-что умылся и вытирал лицо черным от грязи полотенцем.

— Поручик, дайте-ка! — И, взяв из рук моих полотенце, Ксана пошла куда-то вдоль насыпи.

— Ксана Константиновна! Куда? . .

Она обернулась и только махнула мне рукой.

— Девчонку эту лапать я запрещаю! — сказал я, вновь влезая в теплушку. — Эх вы, кобельки сучьи! А ну, — кто этой ночью к ней пробирался?

— Не мы это, господин поручик! — Едоков показал глазами на капитана первопоходника. — Не наша каша и ложка не нам.

Я щелкнул пальцем о кобуру нагана.

— Кто бы ни лапал, — расправлюсь! Поняли?

Капитан, стеливший под волами свежую солому, посмотрел на меня и улыбнулся.

Минуты три мы молчали.

— Кто из вас этой ночью ко мне в мешки лазил? — вдруг спросил он, стряхивая грязь с ладоней. Щелкнул пальцем о кобуру. Улыбнулся.

Я уже вылезал из теплушки. — Капитан! — болтая в воздухе ногами, ответил я ему. — Вы можете сегодня же разгружаться. . . Вас не держат. . .

Капитан промолчал.

Серый полдень висел над далекими крышами Змиева. Я шел с Ксаной вдоль беженского эшалона. Двери теплушек были закрыты. Сквозь пробитые стены торчали косые трубы. Трубы дымили.

— Может-быть выменять мою шапочку?

— Оставьте, Ксана Константиновна! — сказал я, твердо решив этой же ночью выкрасть у капитана первопроходника немного сахару и обменять его на хлеб. — Я что-нибудь да надумаю. Подождите!

Под теплушками эшалона валялась картофельная шелуха. Тощий пес под колесами лизал банку из-под «Corned Beef'a». Банка скользила по замерзшим шпалам.

Когда, наконец, мы подошли к последней теплушке эшалона, Ксана раздвинула двери, ухватилась за пол теплушки, поднялась на мускулах и быстро вскочила в вагон. Я последовал за нею.

В теплушке было дымно и жарко. На чемоданах из красной и желтой кожи, друг возле друга, молчаливые и серьезные, как ученики в школе, сидели беженцы, — мужчины и женщины. Разложив на прикрытых салфетками коленях хлеб и сало, беженцы завтракали. Посреди теплушки коптела печь. Над ней висело мое полотенце, — уже выстиранное.

— Добрый день!

— Закройте двери! — сердито пробасил вместо ответа какой-то мужчина в меховой, высокой шапке и вдруг закашлялся, очевидно, от дыма. Кусок сала с его колен упал на пол.

— Подождите! .. Ну что, высохло?

И взяв мое полотенце, Ксана вновь соскочила на насыпь.

— Душно там! Господи, как душно! ..

Она глубоко дышала, положив ладони на маленькие круглые груди. Вдруг обернулась.

— Знаете! .. Это, конечно, глупо... Но я так боялась, что вы там... просить будете...

Я засмеялся.

— У сволочей? .. Ждите! ..

* * *

— Капитан мажет, ядри его в корень. Видно, далеко ехать собирается! — встретил нас за вагонами ефрейтор Лехин. — Мешок сахару подарил. Ну, теперь лафа, господин поручик! .. Едоков уже и в деревню побег. За хлебом...

Через час мы ели хлеб со сметаной. Вечером вновь двинулись в путь.

Было темно. Колеса торопливо стучали. Над головой медленно и лениво жевали волы.

— Мама ничего не говорит... Только плачет... — вполголоса рассказывала мне Ксана. — Товарищи Жоржа говорят:

надо мстить за поруганную интеллигенцию; через войну к миру, — говорит Жорж. Ну, а Костя. . . Погоны, шашка, шпоры. . . Много ли мальчику нужно! Ему кивни только! Ведь Костя на целых полтора года моложе меня. Для него Деникин и Фенимор Купер — одно и то же. Вы понимаете, поручик?

В темноте я Ксаны не видел. Не видя ее, мне трудно было следить за ее словами. Мысли почему-то путались.

— Если б папу не расстреляли, — продолжала Ксана, — мне было бы гораздо легче во всем этом разобраться. . . А так? . . А ведь я много думаю, поручик! Папа, братья — вы понимаете? . . Я не могу не думать! . . Одни, — это красные, но они проходят мимо нас, стороной. А если и останавливаются, то только для того, чтобы вырвать кого-нибудь из наших близких. Как же могу я подойти к ним и узнать, куда они идут? Другие, это вы. . . Но вас тысячи, и все вы разные. . . Потому мне кажется: вы никуда нейдете. Только топчетесь. . . За что же ухватиться, поручик? С одной стороны — (кто себе враг?) — ведь папу расстреляли! . . С другой. . . — я видела висилицы. . . Их было 12 штук. .. Кто себе враг! — подумала я тогда про красных. Но они меня не подпустили. На дороге к ним лежит труп моего папы. . . И вы не подпускаете. . . Тоже. . . Между вами и мной — виселицы. . . Итак, нужно отступать. . . Но куда отступать, поручик?

Ксана замолчала.

— Вы слышите? Вам не смешно?

— Говорите! — кутаясь в шинель, сказал я тихо. — Где там смеяться! . .

Мне было холодно. В пояснице ломило. На минуту мне показалось, что слова Ксаны медленно опускаются в темноту.

— И вот, вместо задач Шапошникова и Вальцова, — наконец, снова дошли до меня ее слова, — приходится решать другие. . . и тоже со многими неизвестными. И в конце концов, разбив голову и ничего не решив. . .

Тяжелый звон, качаясь, опять проплыл между мной и Ксаной.

— Ксана! — сказал я, очнувшись.

Колеса переставали гудеть, и вновь стучали, торопливо и сбиваясь.

И вдруг мне захотелось увидеть лицо Ксаны. Вот сейчас же, немедленно!

— Ксана!

Я вынул папиросы. Достал спички.

— Ксана!..

Спичка вспыхнула. Озарила ее круглое, под черной шапкой и волосами чуть приплюснутое лицо. Я встретил ее глаза, задержал их в своих, но желтый мигающий свет вновь сорвался с ресниц, и лицо ее расплылось в темноте. Ксана молчала.

Я затянулся, глубоко, старательно, но дым папиросы показался мне холодным и горьким. — «Неужели я заболел?» — подумал я, вновь прислонясь к холодной стене теплушки.

...Медленно жевали волы. Где-то под ними храпел капитан-первопоходник.

— Вы нездоровы, поручик?

— Ерунда, Ксения!.. Знобит...

Рука Ксаны отыскала мою голову и в темноте ласково ее гладила...

— Знамо дело от кого едут, а куда вот — и неизвестно!..

— Как жизнь-то искроили, — а!

Второй солдат выплеснул из котелка белый застывший борщ.

— То-есть, до самого, как говорят, до основания!

На Изюмском вокзале стояли 5 беженских поездов и эшалон 3-го Корниловского полка.

Грязные, поросшие бородой корниловцы сидели возле теплушек и, разложив на снегу снятые гимнастерки и френчи, давили вшей.

Рядом с корниловцами, на другой стороне скользкого от замерзших нечистот коридора, стоял эшелон курских беженцев.

— Лиза!.. Господи, неужели ты не понимаешь!.. Лиза! Ведь не до удобств теперь!..

— Серж!.. Мой Серж!.. Я больше не могу! Не могу-у!

Я шел к начальнику станции.

— Господи!.. За что?.. — опять приглушенно донеслось из-за дверей закрытой теплушки. — Господи!.. О, наша несчастная, многострадальная, русская интеллигенция!..

— Ти-ли бом, ти-ли бом, повстречался я с жидком! — пел какой-то молодой корниловец, растягивая разбитую и трепанную гармонь.

. . . А на станции, — в залах, — лежали больные. Воздух в залах был сперт и душен. В разбитые окна дуло.

— Эй, ноги! . . Сторонись, ошпарю! . .

— На полатях, что ль? . .

— Господи! . .

— Твою мать, вдарю! . .

И тут же, сквозь стон, крик и ругань — бесконечно-долгое:

— Пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-ить! . .

* * *

— Ксения, к вечеру мы будем в Лимане. Счастливо. Не поминайте. . .

— Ти-ли бом. . .

— Мы, Ксения, двинем на Славянск. Оттуда на Лозовую. Думаю, на Лозовой мы найдем дроздовцев.

— Ти-ли, ти-ли, ти-ли бом. . .

— Едоков, да подсоби же! — У меня уже не было сил без помощи взобраться в теплушку.

— Поручик, я не могу бросить вас, так. . . в таком состоянии.

— Глупости, Ксения!

. . . — тили-бом, — оказался военком! . .

. . . Ухватив меня под мышки, Лехин и Едоков подымали меня в теплушку.

— Понимаю, голубчики, понимаю! . . Как не понять! . . Да много теперь сахару этого! . . Все везут! . . Нам бы сатину, голубчики, аль ситцу. . . Дорого теперь хлеб-то! . .

И снова поезд отходил от станции, волоча вдоль снежных канав полосы взрытого ветром дыма.

Наша теплушка шла в хвосте корниловского эшелона. Паровоз мы бросили, — нечем было топить. Машиниста отпустили.

Над крышей теплушки бежал ветер. Один из волов выдавил рогами прогнившую доску стены. Сквозь пробоину валил сухой мелкий снег.

Я лежал на полу. Кутался в шинель. Иногда бредил. На пулемете возле меня сидела Ксана.

— Поручик, я не оставлю вас. . .

*

Она играла пулеметною лентой. Вдруг встала, подошла к волу и прижалась щекой к его широкой шее.

— Не оставлю. . . никогда! . .

За дверью бежали снежные дали. . . «Ксана! . .» — думал я. — «Ксана! . . . Милая! . .».

. . . А в Лимане мы расстались. . .

Когда Ксана ушла, капитан-первопоходник вдруг очень обеспокоился моим здоровьем.

— Нет, поручик, здесь вы лежать не можете. . . Дует, снег. . . А у вас тиф. . . я знаю. . . Я устрою вас в теплушке с печкою. Хотите? Переговорю с капитаном Мещерским, — мой хороший знакомый, — вмиг. . . Хотите? — Он ушел и вскоре меня отвели в одну из теплушек корниловского эшелона.

— А за пулеметы не извольте беспокоиться, господин поручик, — уходя назад в нашу теплушку, сказал мне Едоков. — Ну, значит, до следующей станции. Наведывать будем. . .

Корниловцы играли в карты.

«Умирают туберозы
На моем столе.
Звезды падают как сле - езы
В дымно - синей мгле. . . » —

мягким баритоном пел штабс-капитан Мещерский, бравый корниловец, с черепом на рукаве гимнастерки.

Наконец, эшелон рвануло. . .

НОЧЬ В СЛАВЯНСКЕ.

— Несите! На вокзале не может не быть летучего отряда. Но скорей, не останьтесь, эшелон сейчас идет. . . — И подойдя к двери теплушки, штабс-капитан Мещерский быстро ее раздвинул.

— Ну! . . И этого. . .

Поручик Бобрик, лежащий рядом со мною марковец, протяжно и глухо застонал.

Была ночь. . .

Когда меня несли на вокзал, звезды в небе, — много звезд, — кружились в глазах красными шариками. Руки свисали вниз. Кисти болтались. Два раза, — за разом раз, —

точно о тяжелые мертвые струны, ударились, отскочили и вновь ударились о что-то холодное.

— Осторожно, — рельсы! — сказал первый солдат.

— Вижу, — сказал второй. — Эх, и ночь же! . .

И вот красные шарики куда-то укатились, — вдруг, внезапно, — точно стрелки, сбежавшие под гору. Над глазами закачался желтый круг. «Лампочка. . .» — подумал я и почувствовал, — вдруг, сразу: больше не качаюсь. . .

Меня положили на пол.

— Никаких летучек нет! — сказал первый солдат.

«Ефрейтор Филимонов говорит» — узнал я голос вестового штабс-капитана Мещерского.

— Ну да ладно! — сказал второй. — Пусть полежит. Идем!

— Филимонов! Эй, Филимонов!! — хотел крикнуть я, сразу поняв: меня бросают. . . здесь я умру! . . — но ни крикнуть, ни сказать, даже шопотом: «Филимонов, эй Филимонов!» — я не смог. . .

Только поднял голову. Две солдатских спины уходили за дверь. За дверью качалась ночь. В ночи качались звезды.

— Эй, Филимонов! — крикнул я, наконец, и сразу же лишился сил. Голова ударилась о пол. — Желтый кружок над дверью, — красными, двойными, тройными кругами, — вниз, кверху, — во все стороны расползся по темноте. . .

. . . Потом принесли поручика Бобрика. Положили рядом со мной. Говорить я не мог, не мог также и приподняться. Но видел, кажется, все и уже все ясно и отчетливо понимал.

Солдаты ушли.

По стенам ползла ночь. Мне казалось, — тени скребут известь стен, и известь осыпается.

«Надо встать! . .» решил я. — «Надо ползти к своим. . . в теплушку. . .»

Уперся о ладони. Но ладони поскользнулись, разъехались. Я стал падать, — ниже. . . ниже. . . ниже. . .

Когда я вновь открыл глаза, в зал, крадучись и озираясь на дверь, вошел Филимонов. Над поручиком Бобриком он наклонился.

— Не умер, но все одно помирает! — сказал он кому-то и взял поручика за ногу.

На мне были сапоги дырявые и воровать их не стоило.

* * *

. . . — Мама, ты знаешь? . . Мама, не я, другой это! . . Не нужно, пройдем мимо! . . — и вдруг, громко: — От-де-ление! . . — так бредил поручик Бобрик.

«Встану! . . Нет, нужно встать! . .» — думал я, подползая к стене. Поднял руки. . .

Стена возле меня грузно качалась.

Молодой рыжеусый поручик вертел в руках корниловскую фуражку. Волновался.

— Извольте воевать с большевиками, когда чуть ли не в каждом нашем солдате сидит большевик!

Я удивленно взглянул на поручика.

— В корнилов-це?

— Ну да, в корниловце! Двух часовых приставили. К машинисту. Двух. А они оба, — и у всех под носом, — с машинистом вместе, как в воду канули!

. . . Рыжеусый поручик уже раз десять приоткрывал дверь теплушки.

— А ну, что слышно? . .

Сквозь щель дверей дул ветер. Язычок свечи на полу пригибался и бился, как в поле флажок линейного. Солдаты, раскинув руки, тяжело и хрипло дышали.

— А ну, что слышно? . .

Но в темноте, за дверью теплушки, слышно ничего не было.

. . . Когда, часа $1^1/_2$ тому назад мне удалось, наконец, подняться и выйти на перрон, эшелон корниловцев все еще готовился к отбытию.

«Славянск» — прочел я над станцией и, медленно спустившись на пути, пошел, качаясь, к эшелону.

Но нашей теплушки в составе эшелона уже не было. Я просунул голову в дверь ближайшего вагона.

— Скажите, здесь дроздовцы были. . . с пулеметами? . .

Рыжеусый поручик, гревший руки над круглой печуркой, небрежно мне козырнул.

— Были, но остались в Лимане. . . С волами, кажется? . .

— И с волами. . . Да. . . А зачем остались? Послушайте?

Рыжеусый поручик развел руками: — А я знаю? — Потом наклонился ко мне. Взглянул в самое лицо. — Э-э-э! . . Да вы больны, поручик?

— Я залезу к вам. . . Можно?

— Залезайте!..

... «Все равно!» — решил я — «пусть давятся!»

В углу теплушки не дуло. Мне было тепло. Вылезать из под шинели не хотелось.

«Все равно... Чорт с ним!.. И с наганом... И с Мещерским... И с Филимоновым...»

На мне не было ни пояса, ни нагана.

* * *

— Чорт дери! извольте воевать с большевиками, когда и каждом...

Рыжеусый поручик сидел на «Максимке». В ногах у него уже догорела свеча. Солдаты все еще спали.

Но вот пламя свечи упало на бок и тревожно забилось. На уровне пола, в дверях, вдруг с вихрем распахнувшихся, выросла чья-то голова в густой папахе из заячьего меха.

— Здравия желаю, господин полковник!

— Слушайте!

Очевидно, полковник встал на носки, — голова его поднялась над уровнем пола.

— Вы студент?

Привстал и рыжеусый поручик.

— Так точно!

— Путеец?

— Так точно!

— Практикантом ездили!

— Раза три приходилось!

— Отлично! Отправляйтесь немедленно к командиру полка и заявитесь.

— Но, господин полковник, я давно уж...

Но заячья папаха полковника уже качнулась за дверью.

— Не можем стоять, поручик! Промедление смерти подобно! Как-нибудь, а ехать нужно! — из темноты прогудел его голос.

— Значит, вы едете?

— Едем.

— Прощайте! Я должен поджидать своих!

И все еще шатаясь, я медленно пошел к вокзалу.

Над вокзалом тянулась узкая полоска зимней зари.

Последний путь, по счету 4-й, находился далеко от вокзала.

Утро долго не прояснялось, и корниловцы, бродившие около эшелона, казались мне серыми пятнами.

Вдоль вагонов, по песку, присыпанному мелким снегом, текло утро. Оно переползало через пустые поезда, угрюмо стоявшие на 1-м, 2-м и 3-м путях; в желтых снежных полях за путями расползалось, сгребая тени из-под круглых, как курганы, сугробов. Низко в небе, цепляясь за голые ветви лип возле станции, висели рыжие тучи.

На платформах было пусто. Около дверей валялась брошенная шинель. В зале 3-го класса, обвешанном плакатами Освага, лежали солдаты. Над дверью качалась электрическая лампочка. Лампочка горела, но уже не светила.

Среди тифозных, ближайшим к дверям, лежал поручик Бобрик.

Поручик Бобрик все еще бредил.

. . . Уже не серое — желтое ползло над шинелью в дверях утро. Пробежавший ветер открыл дверь. Побежал вдоль платформы. За платформой стояли поезда. Паровоз корниловского эшелона уже дымил, и уже не бродили, — бегали возле красных теплушек солдаты.

И вот через шинель в дверях, — утру навстречу, пополз на платформу поручик Бобрик.

. . . Пути и еще пути.

Очевидно, поручик Бобрик не видел поезда, около которого суетились корниловцы. Поручик Бобрик, очевидно, ничего не видел: ему на самые брови сполз козырек белочерной фуражки.

Пути и еще пути. . .

— Эй, сюда! — крикнул я хрипло.

Прошел железнодорожник. Скрылся. Прошел солдат.

— . . . твою мать! Холодно! — скрылся. . .

— Эй, сюда!

Мелкий снег побежал по доскам платформы. Замел следы солдата и железнодорожника.

Добравшись до 4-х путей, поручик Бобрик медленно опустился на бок, потом опрокинулся на спину, дернулся и замер.

. . . Падал снег. Снежинка, прилипшая к губам поручика Бобрика, не таяла. Не таяла и снежинка на его ресницах.

По рельсам, на которых лежал поручик Бобрик, медленно шел поезд. Паровоз вел рыжеусый поручик. Я видел, как поручик задергал плечами и перегнулся вперед.

Потом он вновь выпрямился.

. . . И поезд прошел.

Мороз крепчал. Я лежал в уборной. Там было теплее. К полдню на квадратное окно уборной легли лучи солнца. Потом на стекло набежал оранжевый дым.

Я вышел на платформу.

К Славянску подошел эшелон с курскими беженцами.

— Господин поручик! Господин поручик!

— Лехин?

За Лехиным, размахивая котелком, бежал Едоков.

* * *

— И шумели ж мы, господин поручик! — рассказывал Едоков. — Господин капитан нас даже пристрелить грозились. Если б знать, так разве допустили б до этого. Что-о быков! И сахар продал — все! Известное дело, один мешок мы припрятали, а как же!

— Да ты по порядку!

Наконец Лехин рассказал мне о происшедшем.

Когда в Лимане меня отвели в теплушку к корниловцам, капитан-первопоходник отцепил от эшелона нашу теплушку. Он ждал мясников, которым продал волов, и лабазников, которым продал сахар.

— Уж такой человек. . . не сговорчивый! — вставил Едоков.

— Спекулянт! — пробасил Акимов.

— А кто же, ядри его корень!

Лехин выгребал ногою навоз из теплушки.

К вечеру того же дня, с поездом, нагруженным снарядами, мы двинулись на Бахмут, где, по полученным сведениям, стояла хозяйственная часть нашего полка. Через два дня, вместе с нею, мы были в Харцызске, где и дождались нашего полка, который, оставив линии Южной железной дороги, пошел по Ростовскому направлению. К Ростову стягивалась и вся Добровольческая армия, во избежание, как говорилось в полку, разрыва фронта между Донским корпусом и нами.

И еще в полку говорилось о предстоящих боях.

Мы готовились.

ИЛОВАЙСКОЕ — ТАГАНРОГ.

Прошло несколько дней.

Дроздовский полк двигался эшелоном. Пулеметный взвод я сдал поручику Савельеву, пулеметчику, присланному к нам из офицерской роты, и вновь принял свой 2-й взвод.

Чувствуя себя все еще слабым, я почти не выходил из теплушки.

— Нартов, а что поручик Морозов делает?

— У себя он, господин поручик, при взводе.

Тут же в теплушке лежал Зотов. Зотов приподнялся.

— Они, господин поручик, в расстроенных чувствах. На всех словно из подворотни глядят и бородой зарастают.

— Позови его, Нартов!

Подпоручик Морозов садился рядом со мной и, сдвинув брови, часами смотрел на огонек печурки. За время моего скитанья он, действительно, оброс густой, русой бородою.

— И чорт с ней! Пусть растет! . .

Где-то, кажется еще не доходя до Лозовой, на Алексеевке, он видел жену, и вновь потерял ее в потоке беженцев. Она осталась за линией фронта. Зная об этом, я не задавал ему никаких вопросов.

. . . А в вагоне рядом пьянствовал поручик Ауэ. Говорят, он лежал на полу, и дико ругаясь, дрался с пустыми бутылками. В теплушках роты он не показывался. Иногда на остановках к нам забегал штабс-капитан Карнаоппулло. Усы его были растрепаны. Веки опухли.

— Ка. . . ка. . . каторые здесь? . .

— Идите, капитан, идите с богом! Которых здесь нету. . .

И опять — свистки. Казалось эшелоны перекликаются. Растягиваясь от станции до станции, один за другим, они медленно двигались по пути к Таганрогу. По дорогам около путей тянулись обозы. Без конца. Шли беженцы, воинские части, просто дезертиры. Когда эшелоны останавливались, бесконечные, черные цепи этих людей бросались к нашим вагонам. Их встречали бранью, прикладами, иногда — огнем.

Эшелоны были переполнены.

— Ил-л-ловайское! . .

Были уже сумерки. Идущий перед нами эшелон сбрасывал под откос несколько разбившихся в пути теплушек.

— Потому и задержка... Поезд там перецепляют, — сообщил Алмазов, разжалованный за дезертирство унтер-офицер алексеевец, недавно пойманный и назначенный к нам в роту.

Он сел на пол теплушки, достал из-за голенища кусок сала.

— Набегай, кто охотник!..

За дверью кто-то бранился.

— Из Румы - ни - и по - хо - дом
Шел Дроздовский слав - ный полк! —

пел кто-то в теплушке ротного.

— Пожрать бы!

— Жри!.. Все одно, — одному мало!..

... А меня вновь знобило.

* * *

— Свечников!..

Штабс-капитан Карнаоппулло раздвинул дверь теплушки.

— Свечников, сюда!..

Свечников вскочил.

— Дай!..

— Чего дать то?..

— Сала дай.

И, взяв у Алмазова второй ломоть, Свечников быстро выскочил из теплушки.

— Свечников, куда?

... — Но геро - о - ев за - ка - лен - ных
Путь далекий не страшил... —

тянул кто-то у ротного.

Через минуту Свечников вновь вернулся.

— Что? Опять, брат, за салом?..

— К чорту твое сало!

Он схватил винтовку.

— Ишь побежал!.. Пятки сверкают!..

— И куда это?..

— Не запирай, Нартов. Подожди! Выйти нужно.

Я подошел к двери и спустился на притоптанный снег около вагонов...

За канавами, по обеим сторонам путей, в высоких и замерзших камышах протяжно и с надрывом выл ветер.

Вдоль вагонов бежал снег, хлестал по ногам и трепал полы шинели. Над снегом валил мерзлый пар с паровозов.

— Веди! Веди в камыши! Спускайся! . .

От классного вагона командира полка шла группа солдат.

— Веди! Веди его, серого! — кричал штабс-капитан Карнаоппулло, подталкивая в спину какого-то рослого солдата в бурке — очевидно, казака. Другого, в круглой рыжей кубанке, прикладом по затылку гнал Свечников.

Темнело. . .

Высокий черный камыш грузно качался над снегом.

— Зима, а степь дышит! — сказал кто-то рядом со мной. Потом вздохнул: «Мчатся тучи, вьются тучи. . .» — А помнишь, Игорь? . .

И вдруг из-под камышей — вверх — рванулись три коротких выстрела. . .

* * *

— Да за что?

— Да честь не отдали!

На Свечникове была круглая рыжая кубанка. Он поставил винтовку в угол теплушки и сел, вытянув на полу ноги.

— Честь не отдали? . . Кому это? . .

— Его превосходительству.

— Кому? . .

— Его превосходительству генерал-майору Туркулу.

Свечников распустил пояс. Прислонился к стене. — Уж раз, думают, кубанцы, так добровольческому командованию и чести не нужно. . . — И подобрав подбородок под ворот шинели, он солидно откашлялся. Кубанка, — не по голове ему, — съехала на самые уши.

— Свечников, закрой двери!

В теплушку врывался холодный воздух.

— Свечников, тебе говорю!

Но Свечников с пола не поднялся. — Закрой-ка дверь! — кивнул он головой Нартову.

— Встать! — закричал я. — Встать, твою мать в клочья!

И схватив Свечникова за плечо, я швырнул его к двери. Рыжая кубанка покатилась в угол. Звякнула, ударив штыком о печурку, упавшая на пол винтовка. И вдруг —

«. . . чать!» — хриплым воем метнулось к нам из соседней теплушки. «Мол» — и опять: — «чать! . .» «Молчать!» — Выстрел.

. . . Под вагоном клубился снег.

Мерзлый пар бил в лицо.

Я уже карабкался в теплушку ротного.

Вдрызг пьяный ротный сидел на полу. Его гимнастерка была расстегнута. Он размахивал наганом.

— За-ст-р-е-лю! Н-н-ни. . . ни шагу!

Над смятою буркой в углу теплушки стоял с шашкою в руке штабс-капитан Карнаоппулло. С его рассеченного лба капала кровь. Подпоручик Морозов стоял под другой стеною. В руке он держал пустую банку из-под консервов. Глаза его, обыкновенно голубые, серым, стальным огнем метались под свисающими бровями.

— Об-жаловать? — кричал ротный. — Мол-чать! . . Да я тебя, твою мать, проучу, твою мать! . . В моей? . . в моей роте? . . жалобы? . . Р-р-р-разойтись, барбосы! И чтоб. . . — к матери бурку! В барахло врастаешь, боевых цукать, — грек синерылый?!

И вдруг поднявшись, ротный всем телом качнулся вперед. Бурка из-под ног штабс-капитана полетела в открытую дверь.

— Благодарю вас, поручик!

Подпоручик Морозов бросил банку, вытянулся и отдал ротному честь.

* * *

. . . — И на ком? . . На ком злобу сорвал?

Я провожал подпоручика Морозова в теплушку его взвода.

— На ком? . . подумайте?!

Подпоручик Морозов молчал. Устало водил глазами.

— Да ты рассуди только. . .

И вдруг я замолчал, вспомнив о Свечникове. . .

Вдоль теплушек бежал ветер. Мерзлый холодный пар ложился на крыши. По дороге в степи шли черные обозы. В небе плыли звезды. А меня вновь качало со стороны в сторону.

— По вагона-а-ам! . .

Все так же спокойно плыли звезды. Я видел их сквозь щель неплотно задвинутых дверей, за которыми, сползая во мглу, гудели под ветром все те же степи.

Мне было и душно и холодно. «Опять заболел! Второй приступ... Тиф или малярия?»

— А поручик его банкой тогда... По мордальону... Тут капитан... смутно ловил я голос Нартова.

...и говорит мне, значит, вольнопер этот, — рассказывал в другом углу рядовой Зотов. — И говорит, значит... Садовник тогда бывает изменником, когда он продает настурции...

— Чего продает-то?

— Нас это, русских, Турции, значит...

— А ежели Германии?

— Дурак... Ведь про цветы это сказано!

— Про цве-ты-ы? Мудрёно, что-й-то! А как Зотов, насчет большевиков, нет ли случайно?..

— Насчет большевиков как будто и нету...

... Быстро, быстро плыли в темноте звезды.

Меня уже не знобило.

Скоро и колеса перестали гудеть...

— Эх, в Таганроге,
Э-эх, в Таганроге,
В Таганроге,
Да в Таганроге
Да та-ам случи-и-лася-а беда...

Я открыл глаза.

Возле дымящейся печки сидел Зотов. Жалобно пел, закрыв глаза. Больше в теплушке никого не было.

— Зотов!

Зотов оборвал песню.

— В Таганроге мы, господин поручик. Ну как, полегчило?.. А и здорово промаялись! Два дня ломало. Не встать, думали...

— А где взвод, Зотов?

— Взвод в городе, господин поручик, весь батальон там. Добра, говорят, поставлено!

Я закрыл глаза.

— Эх, та-ам уби-ли
Эх, та-ам убили...

* * *

— Разойтись.

Без винтовок, перегруженные скатками кожи, влезали в теплушку солдаты.

— Ну, и кожа, ребята!

— Вот выйдем на Ростов, — загоним... Там, говоря-ат, цена!..

— Цена говорят?.. Не тебе в карман деньги, чухна! Не тронь! Да не тронь, говорю! Оставь!

— А в морду?!

Огурцов и обруселый эстонец, ефрейтор Плоом, вырывали добычу из рук друг у друга.

Под дверью теплушки стоял Алмазов. Я видел лишь его засыпанную снегом фуражку, и над ней ржавый, убегающий вверх, штык.

— Шлялась туда-сюда, — рассказывал Алмазов. — Как видно, нищенка, да малахольная к тому же... Ну, мы и прихватили... Идем, Свечкин, что ли!.. В 3-м она сейчас. Здо-ровая, всех выдержит... Там уже и в затылок становятся... Ты как насчет этого, Свечкин? А?..

— Ладно, идем! Мы что, — рыжие?..

.... Когда, уже под вечер, наш эшелон вновь рвануло, и, мерно покачиваясь и подпрыгивая, покатились по рельсам теплушки, я приподнялся на локтях и выглянул за дверь.

Под насыпью, прямо на снегу, там, где грудами валялись разбитые водочные бутылки, широко раскинув ноги, с жалкой улыбкой на лице, сидела дурочка-нищенка.

Ветер трепал ее разорванное платье. На непокрытую голову падал снег.

А из открытых дверей теплушки ротного со звоном летели все новые и новые бутылки.

ПОД РОСТОВОМ.

— Как кроты какие!.. Как ночь, — так вылезаем...

Было темно.

Желтая низкая луна, не подымаясь выше частокола вкруг маленькой степной станции, косыми лучами тянулась под колеса теплушек. Наши тени скользили длинными полосами. На рельсах они ломались.

— И опять же... не к добру это!.. Если лик у месяца желтый, — значит, к неудачам...

— К морозу! — коротко ответил Зотову Огурцов.

В степи за станцией стояли танки. Возле дороги, сверкая медными трубами, выстраивалась музыкантская команда.

— Как странно. . . желтая ночь! — подошел ко мне подпоручик Морозов. Потом указал на танки.

— Смотри! Точно черепахи на песке. . .

В это время музыканты грянули бравый марш.

— Ура! — кричал генерал Туркул, верхом на коне обгоняя роты. — Ура! Не сдадим, ребята, Ростова!

— Ура! — перекатывалось уже далеко перед нами.

«Офицерская кричит. . .» — подумал я, и вдруг, чтоб сбросить тоску, все туже и туже сворачивающую нервы, поднял винтовку и закричал тоже, — неистово и громко, как о спасении:

— Ура-а-а! . .

Но никто не подхватил. Было тихо. Только ротный подсчитывал шаг.

— Ать, два! . . Ать, два! . .

А далеко за спиною, встречая 2-й полк, все так же бравурно играли музыканты. . .

Мы шли на Чалтырь.

Жители Чалтыря, богатые армяне, приняли нас не радушно. Очевидно, боялись нашего скорого отступления, а за ним и расправы со стороны большевиков.

— Эх, была бы кожа! . . — вздыхал кто-то. — Всего б раздобыли! . .

Но кожа осталась в вагонах.

— Нэ понымаю! . . Зачэм на арманской зэмлэ воевать! — ворчал хозяин. — Нэ понымаю, — казак дэрется, большивик дэрется, скажи мнэ, душа мой, развэ армэнын дэрется?

За окном громыхала артиллерия. Переваливаясь, проходили танки.

Вошел Нартов.

— Окопчики, господин поручик, видели? Да все н. к чему это. . . Там, значит, и проволока понавалена. А укреплять-то когда будем?

И поставив винтовку около двери, он подошел к склоненной над печкой хозяйке. — Ну, как? Готово? . .

— Нэ готово! — ответил за жену хозяин. — Вот ты скажи мэнэ, душа мой, — казак дэротся, большевик дэротся. . .

— Отстань! Ну, как, готово?

Хозяйка варила борщ.

— Здравствуйте, господа!

И поручик Савельев остановился в дверях, стряхивая снег с шинели.

— Здравствуйте! . . Вот и сочельник! . . А бывало, помните? . .

Подпоручик Морозов поднял голову.

— Бросьте, Савельюшка, и без того. . . тошно!

— Нэт, ну скажи мэнэ только, душа мой, развэ армэнын дэротся?

— Брысь, кот черный! Мурлычет тоже!

Ночью мы спали не раздеваясь.

. . . .

Бой завязался только на 2-й день праздника.

— Меня вновь знобит, — еще перед боем сказал я подпоручику Морозову. — И слабость. . .

— Перетерпи. В лазаретах хуже. Там сотнями мрут.

Я взял винтовку.

. . . Солнце светило ярко и радостно. Резкие синие тени длинными полосами тянулись вдоль оврагов. Они подползали под ежи и колючую проволоку, запутанную и ржавую, безо всякой цели брошенную на снег.

— Цепь, стой!

Мы вышли на бугор.

Цепи красных наступали на Чалтырь с трех сторон, стягиваясь к четвертой,—к югу, где думали, очевидно, сомкнуться. Южные подступы защищал генерал Манштейн. В цепи была рассыпана, кажется, вся Дроздовская дивизия.

Генерал Витковский, дивизионный, верхом на вороной кобыле, едва успевал за Туркулом.

— Офицерскую роту! . . О-фи-цер-ску-ю сюда! — кричал Туркул, размахивая блестящим на солнце биноклем. Что-то хрипло и невнятно кричал и генерал Витковский.

— И чего тужится! Сидел бы в хате, старый хрен! — гудел лежащий за мной ротный. — Туркул и без него. . . Прицел де-сять! — — и без него Туркул справится. . . Двенадцать! . .

К полдню красные вновь подползли и густою цепью двинулись на Чалтырь.

— Чорт бы их, — мухи! . . — сплюнул ротный, доставая папиросы. Закурил. — Хотите? — Потом привстал. — Хо-ти-те? — размахнулся и опять бросил портсигар уже подпоручику Морозову.

— Барбосы! — Пригнулся.

Пуля сорвала его правый погон.

Гудела артиллерия. Наша била по цепям. Красная — по деревне.

— Скажи мэнэ, душа мой, зачэм на армянской зэмлэ дэрутся? — крикнул, засмеявшись, Нартов, когда, прогудев над нашей цепью, над крайней хатой Чалтыря, опять разорвался снаряд.

— Карнаоппуло! Карнаоппуло! — махнул рукой штабс-капитану ротный. — Скажи мэнэ, душа мой, зачэм ж. . . й на солнце зреешь? Сме-ле-е! . . — и вдруг он вновь оборвал смех короткой командой: — Прицел восемь! Часто! . .

«Скорей бы! . .» — думал я, чувствуя все бо́льшую слабость. Уткнулся лицом в снег. — «Скорей бы. . . Встать. . . Пойти. . . Все равно. . . Все равно. . .»

А пулеметы красных трещали все чаще и чаще.

Пули скользили под сугробы и брызгали осколками звонкого льда.

Пронесли новых раненых. . .

— Господин поручик, господин поручик! . .

Я поднял голову.

Два санитара, ухватив Едокова под мышки, вели его к окопчику, где, разложив на снегу индивидуальные пакеты, сидел ротный фельдшер. Из его окопчика, — в тыл, — волочили уже перевязанных. Снег возле окопчика был красным.

— Господин поручик! . . Господин поручик, про-ще-вай-те! . .

Едоков улыбался. А под ногами у него звенели острые осколки льда. . .

К вечеру цепь подняли.

— Ура-а-а! . .

В лицо бил ветер.

— Ура, танки пошли! . .

Я тоже вскочил, пробежал несколько шагов и вдруг повалился.

— Ранен! — крикнул надо мной кто-то.

— Ура-а! . .

— — — ааааа-а! — неслось уже далеко над степью. И все тише и тише:

— — — — — аааааа! . .

Очнулся я в санях.

Над самым моим лицом дышала морда лошади идущих за нами саней. Над ее головой, высоко в небе, метались красные языки пламени. На фоне огня уши лошади казались острыми и черными. Почему-то мне стало страшно и я отвернулся.

— А! . . Наконец-то! . .

В санях рядом со мной, прислонясь к ободням, сидел подпоручик Морозов. Левая рука его была подвязана. Башлыком поверх шаровар была перевязана и его левая нога.

— Очнулись, господин поручик?

— Едоков, и ты? . .

— А как же! . .

Тело мое ныло.

— Господа, я ранен? . . Тоже? . .

— Никуда ты не ранен. . . Лежи уж! . .

Где-то, верст за пять гудела артиллерия. Ближе к нам, то и дело прерывая стрельбу, работал, заикаясь, пулемет.

— Поручик Морозов, где мы?

— В ротном обозе. . .

— Нет, что за город?

— Ростов. Сдаем. . .

Над крышами побежало пламя.

. . . Потом я вновь проснулся.

— Новочеркасск, говорят, пал. . . — рассказывал мне подпоручик Морозов. — Думаю, оттого так спешно и драпали. . . А спасибо, брат, Зотову скажешь, — он тебя вынес.

— А многих ранило?

— Да. . . Порядком! . .

— А Нартов? . .

— Да лежи уж!

— Нет, я не лягу! Слушай, что с Нартовым?

— Да говорю, лежи ты! . .

Подпоручик Морозов отвернулся и на вопросы больше не отвечал.

*

По темным улицам бежали люди...

Маленькая сестра на санях за нами вдруг приподнялась и замерла, перегнувшись.

— Смотрите, смотрите!..

На фонарях, перед каким-то зданием, кажется, перед театром, болтались длинные и как доски плоские фигуры. За ними, на стене театра, дробясь и ломаясь о подоконники, маячили их красные от рваного огня тени.

Маленькая сестра в санях за нами упала на солому.

— Раз, два, три...— считал Зотов.— Пять... Восемь...

Это были местные большевики, на прощанье повешенные генералом Кутеповым, принявшим командование над сведенной в корпус Добровольческой армией.

Мы уже перешли Дон.

К Батайску стягивались донцы, мы, добровольцы, и еще не ушедшие с фронта кубанские части.

Было холодно.

Я лежал на санях, прикрытый соломой, какими-то тряпками и латаными мешками. Раненый в руку и в бедро подпоручик Морозов лежал рядом со мной. От инея борода его стала белой, брови замерзли и оттопыривались сплошными, острыми льдинками.

Наконец, только утром второго дня, я узнал у него о судьбе Нартова.

При отступлении, когда наши танки почему-то остановились, и сбитые шрапнелью цепи стали спешно отходить на Чалтырь, Нартову отсекло подбородок.

— Весь в крови, Нартов падал, вскакивал, опять падал... Хватал Алмазова, Свечникова хватал...

— А санитары?..

— А санитары?..— Подпоручик Морозов безнадежно махнул рукой.— Ну вот!.. Меня волочил Горшков; тебя — Зотов, а остальные — сам знаешь!.. Ну, и остался!..

Волнами бегущего снега хлестал по сугробам ветер. Мы медленно спускались с пологого холма,— очевидно, к речке. Из-под снега торчали косые перила полузаброшенного моста. Упав на ось расколовшегося колеса, на мосту стояла брошенная походная кухня. Солдаты подхватили ее на плечи, приподняли и сбросили под перила.

— Трогай!

— А вы придвиньтесь, господин поручик. Теплей будет...

— Подожди, Едоков.

Я приподнялся.

— Плоом, поди-ка сюда! Эй!

Отставший от взвода ефрейтор Плоом остановился.

— Алмазова, господин поручик, в роте уже нет. Убег Алмазов.

— Тогда Свечникова позови.

— И Свечникова нет. Никак нет!.. Говорят, замерз Свечников. Отстал и свалился... Так точно, господин поручик, под утро еще... С ним Огурцов был. Тот покрепче, — добрел все же. А Свечников... — много ль в нем силы! Один форс только!..

И Плоом отошел от саней.

Когда мы спускались с моста, головные сани уже вновь въезжали на холмик.

На подъеме холма, торча оглоблями во все стороны, длинными рядами стояли брошенные сани. Промеж саней, редкими вкрапинками, чернели трупы.

Ветер крепчал...

— Не за-е-з-жай!.. Дальше!..

В окнах халуп света не было. Неясно, сквозь тьму белели на воротах мелом нарисованные кресты.

— Меня, ребята, крестом не спужаешь! В одну-то хату я забег, — непременно! — рассказывал кому-то раненый в руку ефрейтор, соскочивший с соседних саней за нами. — Молока, думал, достану. Ка-а-кое молоко!.. вошел я и спичку зажег, — темь по тему, дух спертый. На полу старик и баба лежат. Не дышат, мертвые, видно. А над ними дитя копошится... Ну, тиф, значит! Правильно!.. Э-эх, растуды их кровь душу-мать!..

И ефрейтор стал кружиться и подпрыгивать, ударяя о бедро здоровой рукой.

Лошади, вытянув шеи, дышали хрипло и коротко, как в летний зной — собаки.

Через два дня, уже в Батайске, откуда 1-й Дроздовский полк вновь выступил на северо-восток, — к Манычу, меня вместе с другими больными и ранеными погрузили на сани и повезли на Кущовку. Подпоручик Морозов с нами не

поехал. Оба его ранения были не серьезны, и он остался при хозяйственной части.

— И правильно делает! — прощался со мной поручик Ауэ. — В лазаретах — тиф. Сдохнет. Ну, прощайте...

Я кивнул; ответить я не мог: меня вновь скрутило.

ХУТОР РОМАНОВСКИЙ.

В вагоне IV класса — на полу, на скамейках, и высоко под самым потолком, на полках для багажа — лежали больные.

Я лежал также на полке. Было душно и жарко. Взбросив руки вверх, я водил ими по холодным крашеным доскам потолка. Доски были влажные.

«Воды бы!..»

В вагоне качалась тьма. Кто-то на полу шуршал соломой. Потом долго звякал ручкою ведра, воды в котором давно уже не было.

Против меня лежал бородатый ротмистр.

— Рас-рас-расшибу! — кричал он, размахивая руками. Вот приподнялся. — Рас-ш-шибу! — и вдруг грохнулся вниз на пол.

Гудели колеса. За окном бежали огни Тихорецкой...

Санитарный поезд шел на Армавир.

Подо мной, на замерзшем окне брезжил свет одинокого фонаря. Поезд стоял.

— «Кавказская», — сказал кто-то и смолк.

В тишине стало слышно, как стонут тифозные — на полу, во всех углах, на скамейках и полках... Стон сливался, и мне уже казалось — стонет один человек, и стон этот то подымается под самый потолок, то вновь опускается, точно глухой гул волны за стеной каюты при качке парохода.

Я осторожно спускался на пол, цепляясь за доски ослабевшими пальцами.

— Братушка!.. Уж будь, братушка, снисходительным!.. И мне, братушка, коль сил хватит! — просил молодой фейерверкер с нижней скамейки, протягивая мне пустую

бутылку. — Запеклось. . . и нутром, братушка, сгораю. . . Да слышь ли, о, госпо. . .

На полу барахтался упавший с полки ротмистр.

Хватая меня за колени, тянулся ко мне поднятой вверх бородой: — Ты! . . ты! . . ы! . .

А стон в вагоне плавал и качался.

. . . Рука скользнула по обледеневшим перилам. Холодный, резкий ветер забежал под ворот рубахи, вновь качнул меня к вагону, потом, хлестнув в лицо волосами, сбежал с плеч и, прыгая по шпалам, погнал снег под ногами.

Я остановился, оглянулся вокруг себя и медленно пошел к черной башне водокачки. Итти было трудно. Под ногами ломался лед. Ноги разъезжались.

«Вот дойду. . . Сейчас вот! . .»

Низкая, медно-красная звезда плыла над водокачкой.

«Сейчас вот! . .»

И вдруг за спиной что-то тяжело звякнуло, потом загудело. Я обернулся и, в отчаянии, швырнул бутылки об рельсы.

Глядя на меня буферами последнего вагона, мой санитарный поезд уходил в темноту.

. . . Медно-красная звезда стала золотой. В бассейне водокачки она отражалась острым зигзагом, — по воде бассейна бежала мелкая рябь.

Опустив голову на колени, я долго сидел, прислонившись к мерзлым кирпичам. Надо мной с трубы водокачки белой, завитой бородою свисал лед.

Под рубашкой бродил ветер. Он то вздувал ее, то вновь трепал о тело.

«Надо встать!» — решил я наконец. И поднялся, качаясь.

На полу зала лежали тифозные. Мертвые лежали среди них же. Глаза мертвых были открыты; вытянутые по швам руки повернуты ладонями вверх. . .

Широко загребая, тифозные медленно водили поднятыми руками, точно пытаясь куда-то выплыть. Руки скрещивались, падали и вновь подымались. Изредка подымался и кое-кто из тифозных, долго, не моргая, смотрел на электрические лампочки под потолком и вновь падал, повертывая вверх ладони.

Я добрался до стены. Лег. Закрыл глаза.

— Не шарь! . Да не шарь, прошу-у! . . — прохрипел кто-то возле.

Я сунул руки под рубаху.

Под рубахой было тепло.

— Послушай! . . Да и я ведь. . . Эй, послушай!

— Оттяни, говорю, лапищи! . . Много найдется! . .

— Да послушайте! . .

— Твою мать! Сказано! . .

И санитары прошли мимо.

Они подбирали лишь тех, на ком были погоны со свездочками. На мне не было ни шинели, ни гимнастерки, ни фуражки; офицера во мне узнать нельзя было, и потому меня также оставили на полу.

— Душегубы! . . — Мой сосед-кубанец глядел вслед санитарам мутными, как после пьянства, глазами. — Узнают ще, душегубы — вот прыйдут красные! . . — он приподнялся и поднял кулаки. — Уз-на-ют ще, почем пуд лыха! . .

— Сестрица! . . Да сестрицу-у б! . . — плакал за ним мальчик-вольноопределяющийся.

«Обожду. . . только. . . утра! . .» — думал я, все глубже и глубже засовывая ладони под мышки.

И вот под утро вновь появились санитары.

— Санитар! — крикнул кто-то во весь голос.

— Санитары-ары! . . — совсем тихо подхватили другие.

— Са-ни. . .

Санитары, схватив покойников за ноги, волочили их к выходу.

О живых никто не заботился. . .

А под потолком уже гасли электрические лампочки. За окнами светало.

Какой-то эшелон подошел к перрону.

— Нам à la Махно, господа, действовать надо! . . Шкуро, тот давно уж прием этот понимал. . . А мы: до-ку-мен-ты! . .

В зал вошла группа офицеров-кавалеристов. Молодой корнет размахивал руками.

— Остановить, значит, и всю жидовню. Ведь, чорт дери, фронтовики гибнут!

— Санитар! — закричал мальчик-волноопределяющийся, хватая корнета за сапоги. — Санитар! . .

— Пусти, чорт! . .

И оттолкнув вольноопределяющегося, корнет побежал за товарищами.

Шпоры его звенели.

. . . Когда я, наконец, приподнялся, надо мной пригнулся потолок. Круглой волной качнулся пол под ногами. . .

Потом итти стало легче.

— Куда ты?

— Не знаю, брат. . .

— Идем, что ль, вместе!

И костистый солдат в рваных лохмотьях пошел рядом со мной.

На скулах у него гноилась экзема. За ухом, слепив волосы, приподымался полузасохший, рыжий, цвета ржавчины, струп.

— Подсобить?

— Спасибо. . .

Мы спускались по ступенькам.

На площади перед вокзалом, рядком составив чемоданы, стояли беженцы.

— Из заблаговременных! . . — глухо сказал солдат в лохмотьях; потом, уже громче: — Сволочи! . .

— Нет, господа, уж лучше здесь. . . — говорил бритый беженец, поглаживая клетчатый английский плэд, который он держал через руку.

— Зараза там! . . Не-вы-но-си-мо! . .

Его соседи закуривали.

— А когда поезд, Антон Мироныч? В восемь сорок?

— Опоздает по обыкновению. . . Иван Петрович, да присядьте! . . Ведь ждать, голубчик, придется!

Иван Петрович, разложив на чемодане плэд, осторожно присел, кутая широким шарфом гладко выбритый подбородок. На носу его блестело пенснэ.

— Подожди, — сказал я солдату в лохмотьях и подошел к беженцам.

— Господа!

Беженец в пенснэ, — Иван Петрович, — быстро приподнялся, на шаг отошел от меня и косо взглянул из-под стекол.

— Господа, есть там лазарет ?

Я кивнул головою по направлению к хутору.

— В Романовском? . . А как же! Есть, станичники, конечно есть! Идите, голубчики, примут! . . Прямо идите! . .

— Спасибо.

— Идем значит? — угрюмо и коротко спросил меня солдат в лохмотьях.

— Дойти бы! . .

Плечи мои дрожали. Ворот рубахи я придерживал рукой. Дуло. . .

— Безобразие! . .

— И что это все наши Совещания думают! . . — вновь заговорили за нашей спиной беженцы.

— Совсем ведь раздет, а холод какой! . .

— Да, холод! — Солдат в лохмотьях вдруг круто обернулся. — Да, холод. . . Так, может, плэд, господа, дадите?

— Идем! — Я рванул его за руку. — Да идем же! . .

— Или шарф, хотя бы? . . Защитникам, так сказать. А? . .

— Все прямо, голубчики, идите! . . Вас немедленно же примут. . . Все прямо, значит. . . Большой флаг Красного Креста, — это и есть. . .

— Отстань! — солдат в лохмотьях отстранил мою руку.

— Это и есть? . . Так получи. . . — Он стал дышать, часто и отрывисто. Подошел к беженцам. Остановился.

— От офицера получи. . . трижды за вас. . . сволота. . . раненого!

И, харкнув, плюнул в лицо Ивану Петровичу.

. . . К вокзалу подъезжали все новые и новые сани. Все новые чемоданы выстраивались на площади.

— . . . вашу мать! Перевозчики костей нестреленых! . . — еще раз обернувшись, крикнул на всю площадь офицер в лохмотьях.

. . . — Поручик, я не могу больше!

— Но поручик, ведь нельзя же. . . Идем! . . Еще два шага. . .

Мы медленно шли по пустым улицам, тщетно ища лазарета.

— Будь он проклят. . . весь этот хутор. . . с пристройками! — уже устало, точно нехотя, ругался поручик в лохмотьях, тоже, как и я, едва передвигая ногами.

Пройдя еще два квартала, я остановился.

— Идите один. . . Я лягу. . .

Поручик в лохмотьях что-то ответил, — глухо и невнятно. Потом замолчал. . .

— Эй! . . — вдруг закричал он надо мною. — Эй, подвези! В лазарет нам. . .

По улице на широких санях, крытых буркой, проезжал молодой кубанец с серебряным кинжалом за поясом. Обгоняя нас, он обернулся. Свистнул.

— Наших вот Макаренко верните, апосля, единники, говорить будем!

И причмокнув губами, он стегнул лошадь и скрылся за углом соседнего проулочка.

Братья Макаренко были вожаками левого крыла Кубанской Рады, высланные генералом Деникиным в Константинополь.

— Вставайте! . . Да встаньте же! . .

Поручик в лохмотьях тянул меня за рукав.

— Говорю, встаньте! . . Поедем сейчас! . .

Около панели стояли низкие, извозчичьи сани. Прищурив слезящиеся от солнца глаза, старик-извозчик кивал головой.

— Привстань, сынок! Довезу уж! . .

Поручик в лохмотьях взял меня за пояс. Приподнял. Какая-то девочка подбежала к нам и остановилась. Потом подскочил мальчишка.

— Цыц вы! . . — крикнул извозчик. — Спиктакль вам, что ли? . .

— Помирает, дяденька? . . Дяденька, помирает? . . — услышал я звонкий голос девочки.

— Цыц, байстрюкы!

. . . Отвернувшись в другую сторону, мимо нас прошел какой-то полковник. . .

Женщина-врач, дежурная сестра и санитары забегали по коридорам.

— Некуда их? . . Сестра Вера, в пятой донец, этот, — как его. . . — не помер? . .

— Сестра Вера!

— Дезинфектор! . .

Нас раздевали в клетушке около дезинфекционной.

— Осторожней! Осторожней! . . просил, подняв к голове руки, поручик в лохмотьях, когда санитар взялся за его папаху.

— О-ст-ро-жней!

За папахой поручика, подымая волосы вверх, тянулась какая-то грязная, кровавая тряпка.

— Чорт возьми! — сказал санитар. — И ходите? . .

Потом нас понесли. Поручика в палату для раненых. Меня — к тифозным.

В этом лазарете, номера его я не помню, я перенес два последних приступа возвратного тифа, там же заразился сыпняком и переборол его.

ЕКАТЕРИНОДАР.

— Заберите немедленно костыли! С плацкартой, что ли? . .

— Не тронь строевых!

В углу вагона поднялся бледный вольноопределяющийся — марковец.

— Думаешь, — строевой, — его и под жабры можно! Не тронь! — И повысив голос до крика: «Не тронь!» — он подскочил и, вырвав из рук моих костыль, замахнулся на полковника.

— А ну, штаб, подходи! . . Я тебя. . . по-марковски! . .

Полковник опешил. В вагоне загудели солдаты:

— Не порядок это, господин полковник! . .

— Потесниться, аль здоровых согнать. . .

— Довольно надругались! . . Хватит! . .

— Я доложу! . . Я это так не оставлю! . . — грозил мне полковник — Большевизация! . .

Не отвечая, я сидел неподвижно.

* * *

— Фронт его не гноил! Смотри, — песок сыпется, а галифе с кантиками! . . Туда-же! . .

Сидящий напротив меня подпоручик оправил на груди солдатский «Георгий».

— Поручик, вам в Екатеринодар? . . Тоже? . .

Я молчал.

— Вы, может-быть, ноги продвинете? . . Поручик! . .

Я отвернулся, ближе к себе подбирая костыли.

Три дня тому назад, на второй день моей нормальной температуры, меня выписали из лазарета.

— Месячный отпуск, — сказал председатель врачебной комиссии. — Сле-ду-ю-щий! . .

Я возмутился.

— Но куда я пойду? Ведь это бессмыслица, доктор! . . Я не могу еще в полк, — вы понимаете! . . В отпуск? . . Да вы меня под забор гоните! . .

Доктор пожал плечами.

— Ваша койка уже занята. Езжайте куда хотите. . . Что ж делать? . .

Опираясь на костыли, все время пытаясь ступать на пятки, я медленно вышел в коридор. Пальцы ног, посиневшие после тифа, нестерпимо болели.

— Ну что? — спросила меня в корридоре сестра Вера.

Я молча прошел в канцелярию.

. . . За окном бежали кубанские степи.

— Отойди! . .

Полковник в галифе, вновь было показавшийся в вагоне, прижался к дверям.

Солдаты переглянулись.

— Разошелся-то! А! . .

— Да не шуми ты! . .

— Теперь уж зря будто! . .

Подбодренный солдатским сочувствием, полковник вдруг выпрямился и гордо вскинул под мышкою портфель. Но под его сдвинутыми бровями старческие глаз бегали так же трусливо.

— Странный какой! — шопотом сказал поручик с «Георгием», кивая на вольноопределяющегося. — Фу ты, господи! Еще каша заварится. . . Уймите его, поручик!

Я молчал.

— Да уймите его, ребята! Ведь на людей, ребята, бросается. Непутевый какой-то. . .

На полу, среди седых станичников, сидела молодая казачка.

— Сам ты непутевый! — звонко закричала она. — Мало, — человека испортили, теперь еще обидеть ловчитесь, дуроломы! . .

— Молчи ты! Баба! . . Я те-бя за слова за эти!

Но солдаты опять загудели.

— Бабу не тронь! . . — вступились за нее и седые станичники.

— Правильно баба толкует! . .

— Да вы б лучше, господин хорунжий. . .

— Руки не доросли, чтоб бросать-то! . .—кричала казачка, уже наступая на поручика. — Других бросать будешь! . . Я тебя, да с Еоргием твоим! . .

А поезд уже подходил к Екатеринодару.

На шумном перроне Екатеринодарского вокзала вольноопределяющийся-марковец подошел ко мне снова. Глаза его блуждали.

— Господин поручик, разрешите доложить?

Опираясь на костыли, я остановился.

— Господин поручик, разрешите немедленно же по вашему приказанию, — быстро, точно рапортуя, рубил он, — мобилизовать всю эту штаб-офицерскую сволочь из примазавшихся, и на станции Ольгинской, не рассыпая в цепь. . . в цепь. . . Пулемет. . . Часто. . . Кровью. . .

— Истерик! — сказала за мной какая-то сестра.

Навалившись на костыли, я быстро отошел в сторону.

По слухам, на станице Ольгинской несколько дней тому назад была уничтожена чуть ли не вся Марковская дивизия. Я вспомнил об этом, отойдя от вольноопределяющегося. Но его уже не было видно.

. . . — Неужели это правда? . . И. . . и. . . и комнат нет? . . — заикаясь, спрашивал возле меня какого-то полковника остроносый военный чиновник, блестя из-под очков узкими, как щель, глазами.

— Комнат? . . Я бы и за ватер-клозет, извините за выражение. . .

Кто-то меня толкнул. — Виноват! — извинился кто-то другой.

— Петя! . . Петя! . . — на груди у пожилого, ободранного подпоручика плакала женщина в платочке. — Петя, а Витя где? . . Петя! . .

Возле подпоручика стояла девочка. Склонив на бок голову, она играла темляком его шашки.

. . . Я опять навалился на костыли.

Около входа в зал III класса звенели чайниками калмыки Зюнгарского полка. Вдруг калмыки расступились.

Подняв голову, мимо них медленно проходил вольноопределяющийся-марковец. Он смотрел перед собой, заложив руки за спину.

Два калмыка нерешительно взяли под козырек.

Вечерело... С крыш капало...

На площади перед вокзалом стояли казачки.

— Да рассказывай!..

— Говорю, — не только казаки.... Вот ведь и генерал Мамонтов помер. Все под одним богом ходим!..

— Мамонтов-то помер, а генерал Павлов не помрет... И не говори!.. Другое теперь начальство ставят... Не помре-ет!.. А Трофим твой, — вот как бог свят, — быть ему покойником!..

О выбившиеся из-под снега камни скрипели полозья саней.

— Какой станицы? — окликнула меня одна из казачек.

Быстро темнело. Я шел к баракам эвакопункта, черневшим далеко за вокзалом.

Бараки оказались длинными, серыми палатками, вышиной в двухъэтажный дом. Колья под некоторыми палатками не выдерживали туго натянутых канатов и косо легли на снег. Освобожденные канаты тяжело хлопали о мокрый брезент.

Я подошел к центральной палатке. Вошел. На двухъэтажных нарах лежали солдаты. Света в палатке не было. Тяжелый, мертвый воздух сползал с нар и пластами ложился на дыхание.

«Тиф!» решил я и опять вышел из палатки.

Было уже совсем темно. Моросил мелкий дождь. Снег под ногами размяк и жадно засасывал костыли.

Мне хотелось одного: снять сапоги...

* * *

...— А может, скрутить найдется?

Я обернулся.

Маленький тощий солдат, закуривая, глядел на меня быстро бегающими глазами.

— Куда, брат, кости тащишь? А?.. Смотрю на тебя думаю, — рассыпешься, аль нет? Ну идем, идем! Укажу место.

И мы подошли к маленькой палатке около самого железнодорожного пути.

В палатке никого не было. Стоял стол. Возле него — табурет.

— Канцелярия, видно, — чорт с ней!.. Ну иди же, иди! Хочешь, чаем порадую?.. Сбегаю вот, — там куб есть... Хочешь?.. Да скажи хоть слово одно! Немой, что ли?..

Я снял сапоги и уже ложился на стол.

— Чорт дери, темно вот, — не вижу глупой твоей хари. Да откуда ты? А?.. «Откуда ты, прелестное дитя?» — запел он вдруг приятным тенором.

— Вольноопределяющийся? — спросил я, немного удивленный.

— ...щаяся...

— Как?

— Титьки, дурак, пощупай! Поймешь... Вольноопределяюща-я-ся...

Над палаткой хлюпал ветер. Я засыпал...

— Канцелярия это, господин поручик. Лежать тут не полагается!..

«Вольноопределяющейся» в палатке уже не было. Надо мной стоял писарь. За отстегнутым углом двери серело бледное утро.

— Разрешите попросить вас, господин поручик, освободить, так сказать, это вот место...

Я поднял голову, но сейчас же вновь ее опустил. Воли, чтоб встать и выйти на холод, у меня не было.

— Уйди! — сказал я шопотом.

— Очередные задачи, господин поручик.

— Уйди!

— ...требуют...

— Уй-ди-и!..

Подняв узкие плечи, писарь покорно вышел. За спиной его болтался отстегнутый хлястик шинели. Руки торчали, как отпаявшиеся ручки самовара. Я закрыл глаза.

— ...не подходи!!! И всех по ко-ман-де!!!.. — кричал кто-то за палаткой.

— Сюда!.. Сюда!.. Дежурный!..

Потом все стихло.

Только в тишине за брезентом прыгал, кашляя, чей-то торопливый смешок...

Минут через десять в палатку вошел врач. Толстый, подвижной, он шел вприпрыжку. Размахивая руками, то и дело щелкал пальцами.

. . . — Я не пойду!

— Но, поручик. . .

— Я не пойду! . .

Доктор растерянно улыбался.

В дверь забежал ветер. Мятые бумаги на полу закружились.

— Послушайте! . . — доктор легонько хлопнул меня по колену. — Послушайте! — и вдруг наклонился, заметив мои больные ноги.

— Гм-м! . . Но куда же вас? . . скажите, куда вас в таком случае?

Я молчал.

— Гм-м! . . Дайте вашу руку. . . Гм-м! . . семьдесят шесть. . . Пульс нормальный. . . Но куда вас? . . К тифозным? . . Да нельзя вас к тифозным! . .

— Никуда не пойду-у-у-у! — собрав силы, закричал я, вдруг чувствуя, как запрыгал мой подбородок.

В палату снова вошел писарь.

— Уже готово. Скрутили, — доложил он, пытаясь вытянуть по швам вытянутые дугой руки. — Отвозить прикажете? . . Прикажете трогать?

— Есть! — крикнул вдруг доктор, радостно щелкнув пальцами. — Подожди!

И размахивая руками, он выбежал из палатки.

И вот пришли санитары.

Они взвалили меня на носилки и понесли. Врач шел за нами, насвистывая. Писарь нес костыли.

Я не сопротивлялся. Только думал: «Зачем несут ногами вперед? А еще санитары! . .»

За палаткой стояли запряженные клячей сани. На санях кто-то лежал. Когда меня поднесли ближе, я узнал вольноопределяющегося-марковца. Ноги и руки его были скручены ремнями.

«Куда нас несут? На гауптвахту? . . — подумал я, и тут же решил: — не все ли равно! . .

Носилки поставили на снег. Потом меня подняли и, толкнув в плечо, усадили в сани.

Витринами богатых магазинов смотрел на нас Екатеринодар. Люди, идущие по улицам, не смотрели на нас вовсе.

— Табак Ме-сак-су-ди!—кричали на углах мальчишки.— Папиросы!

Я неподвижно сидел на санях. Слушал, как под копытами лошади урчит вода и как звенят шпоры идущих по тротуару офицеров.

— Куда везете? — спросил я, наконец, сопровождающего нас санитара. Санитар ничего не ответил.

— Куда нас везут? — обратился я к вольноопределяющемуся.

Вольноопределяющийся прищурил левый глаз. Правый широко открыл, быстро заморгал, потом рванулся вперед, всем телом задергался и, найдя упор затылку и связанным ногам, выгнулся колесом и без слов, протяжно и дико завыл. . .

Витрины богатых магазинов сменились окнами мелочных лавчонок. Потом и лавчонки повернулись к нам ящиками и бочками задних дворов. По бурому снегу за ящиками бродили тощие собаки. Собаки бродили и по большой грязной площади, на которую мы, наконец, выехали. К площади, — с одной стороны, — прилегало кладбище. Около ворот кладбища стоял деревянный некрашеный домик, — мастерская гробов. Гробы стояли и на улице, выровнявшись в два ряда — подороже и подешевле. К кладбищу, мимо гробов, медленно двигались какие-то, прикрытые рогожей, сани. Из-под рогож торчали голые пятки.

Придавив соседние, деревянные постройки, на другой стороне площади подымался высокий каменный дом. Линялый красный крест над воротами был едва заметен.

«1-ый Военный Психиатрический Госпиталь» — прочел я надпись под крестом, когда наши сани, наконец, остановились около подъезда.

1-ый ВОЕННЫЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ.

— Его в санаторию нужно, а не к нам, — сказал старший врач ординатору.

Тот пробасил:

— Но за неимением оных...

— Пожалуй! Поместите к тихим и к нервно больным...

Я вышел за высокой белокурой сестрой, а вольноопределяющегося-марковца отвели в соседнюю палату, — для буйных.

В светлой просторной палате № 2 было тихо. Больные, в серых и голубых халатах, лежали на койках поверх одеял и, скосив глаза, глядели на толстую рыжую кошку, неподвижно сидящую под столом.

— Кысенька, кысенька!.. Кыс-кыс! — бормотал в углу палаты больной, до ушей заросший бородою. — Кысенька!..

На коленях между моей и соседней койкой стоял вихрастый мальчик. Он размашисто крестился и усердно клал земной поклон за поклоном. Над широким воротом его халата торчал завиток давно не стриженных, черных волос.

— Ложитесь, поручик! — сказала мне сестра.

... Кошка под столом замурлыкала. Стала бродить по палате. Мне казалось, я слышу, как ступают ее лапы...

И вдруг, — это было уже к вечеру, — из соседней палаты поплыл, оборвался и вновь поплыл чей-то певучий и высокий голос:

— Влади-миииp кня-ааазь!..

И заливая гулом уже всю палату, вслед за ним поползли ворочаясь, другие голоса, — тяжелые и неразборчивые.

Я вскочил.

За стеной в соседней палате гудели буйные.

А у нас, беззвучно шевеля губами, все так же усердно молился вихрастый мальчик. Кошка посреди палаты неподвижно лежала на полу, вытянув рыжие с белыми пятнами лапы. Над ней стоял высокий, гладко выбритый больной. Прищурив глаза, он вертел в руках длинную, тонкую папиросу, держа большой палец около подбородка и далеко в сторону оттопырив мизинец. За столом сидел рослый санитар. Санитар дремал.

Я вновь опустился на подушку. Закрыл глаза.

... Буйные за стеной гудели до вечера.

— Костя, — входя утром в палату, сказала сестра вихрастому мальчику. — Попей чаю, Костя.

Но вихрастый мальчик уже устанавливал на столе нательную иконку апостола Иоанна.

*

— О чем это вы, Костя? — спросил я, протягивая руку за высокой жестяной кружкой.

Костя поднял черные, чуть раскосые глаза и долго, точно испытующие смотрел на меня.

— Влади-миир кня-ааазь! . . — устало сдавал высоты одинокий голос за стеною.

— Костя, о чем вы?

— Не надо громко! . . Тише! Об этом громко не надо! . .

Испуганный шопот Кости срывался на юношеский, надтреснутый басок:

— Туше! . . Вначале было. . . Но тише. . . — слышите? . . Вначале было слово. . . и слово было у бога и слово было бог. . . Глаза его расширились и уже перестали казаться раскосыми. — И все через него начало быть и без него ничто не начало быть, что начало быть. . . и разве бог не может отвести норд-оста?

С ледяных сосулек за рамами окон сбегали быстрые капли. Синее небо наползало на стекла.

— Влади-миир кня-ааазь! — утопал в тишине голос за стеною.

Через несколько дней я узнал от сестры фон-Нельке, так звали высокую, белокурую сестру, что Костя, бывший вольноопределяющийся Деникинского конвоя, уже третью неделю ждет отправки в Крым к матери. Отправить его не могут, и на все вопросы говорят о свирепствующем, якобы, над Новороссийском норд-осте, который — «Да пойми ж, Костя!» — мешает пароходному сообщению по Черному морю.

. . . — И слово было у бога, и слово было бог, — убрав иконку, уже каждый вечер склонялся с тех пор надо мной Костя. — И всё. . .

А за Костей, койкою дальше, тоже каждый вечер, приподняв одеяло коленями, онанировал худой и тощий военный чиновник, сжав зубы, как испуганная лошадь.

Прошло около двух недель.

Я уже встал и ходил по палате, опираясь только на палку.

— Лейб-гвардии Приображенского полка полковник Курганов, — подошел ко мне однажды всегда выбритый больной, куривший тонкие папиросы.

— Скажите, разве это не без-зо-образие! его императорское величество, — голос его стал торжественным, — государь император Николай Александрович всемилостивейше соизволил мне... доверить... воспитание его императорского высочества наследника-цесаревича и великого князя Алексея Николаевича, а эти, — он кивнул на дверь, — эти остолопы гвардии Керенского не доверяют мне, — на минуту он замолчал и вдруг презрительно улыбнулся, — даже бритвы!.. Подставляю лицо всякому мужлану!

— Э-э, чего там, полковник! Курить хотите? — подошел заросший бородой вахмистр-паралитик.

Складки около рта полковника радостно побежали вверх, но брови сразу же вновь сдвинулись, и складки заострились книзу.

— Ваше высокоблагородие, а не полко...

Я отошел.

...— курю только с мундштуком в 9 сантиметров. Заметьте!.. Его императорское величество...

Дальше я не разобрал. Я стоял уже возле Кости.

Костя крестился. Чиновник-онанист рядом с ним ласково гладил кошку, свесив с постели желтую, костлявую руку.

— Хотите погулять, поручик? — подойдя, спросила меня сестра фон-Нельке. — Вам разрешено. Хотите?..

Когда я вышел за дверь, по корридору, — по направлению к уборной, — быстро, как сорвавшаяся с цепи собака, бежал на четвереньках маленький, голый старик.

— Ваше дит-ство! Ваше дит-ство! — кричал, смеясь, санитар. — Не поспеваю, ваше-дительство. Потише!..

— В-ва̀сточные сладости! Рахат-лукум!

Над крышами Екатеринодара неподвижно висело солнце.

— Халва! — и блеснув глазами, армянин прошипел уже над самым моим ухом: — Ка̀хетински есть! Га̀спадин офицер.

По Красной улице гуляли офицеры. В переулках толпились казаки, солдаты и ободранные офицеры-фронтовики. Во фланирующей толпе на Красной шныряли торговцы-армяне. Черноусые греки, скупщики камней и золота, терлись около фронтовиков.

Я все глубже и глубже уходил в город. Наконец остановился: «ну что, поверну?»

— Юрка, да ты ли?

— Марк! Откуда?..

На Марке была старая шинель, изодранная еще о германскую проволоку. Из-под незакрытого ворота виднелась летняя гимнастерка, сколотая у шеи ржавой английской булавкой.

...— Дей-стви-тель-но!

Просмотрев мой бумажник, Марк нахмурился.

— Действительно, денег у тебя немного!.. А я, брат, третью категорию получаю... нового назначения жду... Да, брат, немного у тебя денег. Ну да ладно, половину я возьму!

Он вынул из бумажника пестрые бумажки, и перегнув через палец, стал пересчитывать.

— Не богато!.. Действительно!.. Не рыскал шакалом! А!.. Так-то, так...

Я знал Марка Ващенко еще по Павловскому военному училищу, всегда веселым семнадцатилетним юнкером, потом молодым офицером 613-го Славутинского полка, куда выехали мы также вместе.

— И что это, Марк... вид у тебя такой?.. Ну, зашил бы!..Смотри: дыра... вторая... третья...

Марк спрятал деньги в карман шинели и быстро взял меня под руку.

— Чего толковать! Нечего, брат толковать! Действительно, брат, толковать нечего!.. Идем, угощу. Ну, идем! Там и купим... все что нужно... Два грамма... Пожалуй, на два хватит... Э-эх!..

В госпиталь я вернулся только к вечеру.

«Взять бы его» — думал я, вспоминая, как Ващенко, нанюхавшись кокаину, плакал под смех проституток в кабаке за кладбищем. — «Взять бы его!.. да с его кокаином...»

Потом я обратился к дежурной сестре.

— Сестра! я скоро уеду. В полк пора. Видите, — уже поправляюсь.

Сестра фон-Нельке остановилась возле моей койки. Синие круги под ее утомленными глазами казались в темноте лиловыми.

— Успеете ли, поручик? Ведь уже и Тихорецкая сдана...

В палате зажглись лампочки. Буйные за стеной гудели, как в дупле пчелы. . .

. . . И ничто не помогало. Ни бром, ни папиросы. Сна не было . . .

Все больные давно уже спали. Спал и мой сосед — вихрастый Костя.

На столике возле него лежало евангелие. Под ним какая-то тетрадь, в черной, клеенчатой обложке.

Я взял ее и открыл.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана —

четким, почти детским почерком было переписано на первой странице. Под стихотворением бежала ровная, по линейке выведенная черта. Ниже — отрывок из Блока:

Я не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна. . .

Завиток. Неумело выведенный женский профиль. Мальтийский крестик, тоже косой.

— Го-осподи! — вздохнул дежурный санитар, и громко, на всю палату зевнул.

Я тоже зевнул. Опустил тетрадь на одеяло. Из тетради выпала какая-то фотография. Фотография соскользнула на пол. Я поднял ее и вдруг увидел чуть-чуть раскосые, знакомые глаза Ксаны Константиновны.

«Моему милому и дорогому брату Косте» — прочел я под фотографией.—«Черноглазому галчонку с крыльями сокола. Ксана».

. . . Опять зевнул санитар.

— Чтоб Новокорсунские да подкачали! — бредил вахмистр-паралитик.

— Ва-ше им-пе-ра-тор-ско-е ве-ли-че-ство. . .

Я вложил фотографию в тетрадь и осторожно положил ее на столик.

Ночь была безнадежно долгая. . .

— Хорошо, я передам главному врачу. Как хотите! . . Но комиссия будет только дня через четыре.

Потом сестра фон-Нельке подошла ко мне снова.

— Вы, кажется, просили... Хотите, я сегодня проведу вас к буйным? Вам все еще интересно?

Больные пили чай.

Я встал и пошел за сестрой.

На полу палаты для буйных кружился живой клубок голых человеческих тел. Завидя сестру, санитар быстро вскочил с табурета, подбежал к больным и, взмахнув кулаком, гаркнул на всю палату:

— Вы-ы!

Клубок тел сразу рассыпался. Первым с пола вскочил вольноопределяющийся-марковец. За ним — другие.

Разбежавшись во все стороны и вспрыгнув на койки, они быстро, как по команде, повернули к нам злые и улыбающиеся, одинаково оскаленные лица.

На полу остался лишь рослый красивый больной с густой рыжею бородою. Нога у него была ампутирована. Все еще перевязанный обрубок медленно подымался и опускался, точно подобострастно кланяясь санитару.

— Ползи! — крикнул санитар.

Но больной поднял на него глаза, выправил волосатое тело, и вдруг, ударив о грудь кулаком, стал быстро повторять, гордо повышая уже знакомый мне певучий голос:

— Влади-мииир кня-ааазь! Влади-миииp кня-ааазь! — А обрубок его ноги кланялся подобострастно...

— ...а где запастись? Вот и сидят голые. Но идемте в женское. Я покажу вам наших бывших сестер.

И мы пошли вверх по лестнице.

... — И он подошел... И он сказал... Берта! — сказал: Бер-та!! — сказал, Бер-та!!! — сказал...

А другая, тоже бритая, тыкая в стену указательным пальцем:

— По̀кажите мне, по̀кажите мне, по̀кажите мне!..

— Не можешь?! Уже не можешь?! — кричала с койки третья, яростно раздвигая промежность ладонями. — Не мо-жешь?! — Тяжелые, круглые ее груди плескались и колыхались. — Уже не можешь?!..

И вдруг поток диких ругательств хлынул и закружился по палате.

Я быстро отступил к дверям.

Женские голоса за дверью все еще звенели. Поджидая сестру, я подошел к окну.

За окном, опрокинув гроба возле деревянного домика, из всех улочек и переулков выезжали на площадь все новые и новые обозы.

— Pour faire une omelette, il faut casser des oeufs, — сказала, выходя из палаты сестра фон-Нельке. — Вы понимаете по-французски? . .

Хотелось назад. В палату № 2. Лечь. Уйти с головой под подушку. . .

— Последние дни. . . Да, — чувствуется! . . — сказал навестивший меня Ващенко. — Зайдем, что ли, ко мне. Жена нездорова. . . И тревога. . . И боюсь чего-то. . . И кокаина нет. . . Зайдем?

Я удивился.

— Ты женат, Марк?

— А как же! . . Давно уж. . .

Ващенко жил сейчас же за кладбищем.

В комнате у него было пусто. Стол. Венский стул с просиженным, соломенным сиденьем. На кровати, — лицом вниз, — лежала жена Марка, молодая женщина с шапкой золотых, путанных волос.

Когда мы вошли, она даже не приподнялась.

— Марк, ты?

— Я, Варя. . .

Варя подняла голову. Лицо ее было заплакано.

— Что случилось? — шопотом спросил я Марка. Но Варя меня услыхала.

— А вам какое дело? — крикнула она. — Это еще кто? . . Марк! . .

Я смутился.

— Ах, Варя, офицер это. . .

Варя повернулась ко мне спиной.

Марк сидел на краю стула и, положив руку на стол, барабанил пальцами.

Сквозь грязное окно струилось солнце. Оно падало на графин с водой и расплескивалось на столе золотыми брызгами. На столе лежала корка хлеба с затверделыми на ней следами зубов.

Я выкурил одну папиросу. Скрутил вторую... Наконец, встал.

— Пойду.

— Иди!..— крикнула мне вослед Варя.

На лестнице меня нагнал Марк.

— Не сердись!..— Он положил руку на мое плечо.— Видишь ли... жена расстроена... Уж ты, знаешь... прости. Видишь ли... отца у ней... выпороли...

— Выпороли? Отца? Кто?..

Марк опустил руку и взял меня за пояс.

— Эх!.. Ну, понимаешь... она из крестьян. Отец у ней — мужик... Самый настоящий... Да к тому же...— ну как тебе сказать?..— он понизил голос до шопота,— ну, из большевитствующих, что ли... Понимаешь?.. Ну вот... Ну вот и накрыли... И перед всем селом... Землячка она встретила. Ставропольского...

На минуту Марк замолчал.

— А она... весь день сегодня: ты!.. ты!.. Кому служишь? Палачам служишь! Врагам нашим служишь!.. Чорт! — вдруг закричал он.— Чорт нас дери! Заехали лбом в кашу! Эх, нюхнуть бы!..

Я дал ему несколько пестрых бумажек.

На улицах было тревожно. В темноте на всех углах толпились офицеры.

— Платнировская взята... Это правда?

— Говорят, уже и Пластуновская.

— И сами!..— сами виноваты! — истерически взвизгнул в толпе чей-то женский голос.— Оставьте!.. Я имею право! Оставьте!.. Я жена офицера. Я... я!..

Из-за кладбища налетел ветер. Ветер смял ее слова.

— Значит, эвакуировать будете, сестра Нельке? — спросил я на следующее утро.— А когда?

— Распоряжение еще не приходило... Но очень скоро!..

Чтоб чем-нибудь убить тревожный день, я еще с утра пошел к Марку.

Марк сидел на подоконнике. На кровати, как и в первый раз, спиной кверху лежала Варя.

Глаза Марка были широко открыты. Зрачки расширены. Он был вновь под кокаином.

— Бои идут под станицей Динской. Что делать думаешь, Марк?

Марк смотрел через мое плечо.

— Слушай, дай деньги. . .

— Вы! — закричала с кровати Варя. — Ни копейки не давайте! . . Я три дня. . . три дня. . . А этот. . . этот. . .

Марк быстро ко мне пригнулся.

— . . . ей хлеба, а мне. . .

— Не смей!

Варя вскочила.

— Не смейте! — крикнула она еще громче, сверкнув глазами из-под упавших на лицо волос.

Сдвинув со лба фуражку, я вышел на лестницу. На лестнице вздохнул.

«Нет, с ним ни о каких планах не потолкуешь! . . — думал я, уже с хлебом в руках вновь подымаясь по лестнице.

«Отдам, и сейчас же пойду. . .»

На лестнице я встретил Марка. Он бежал вниз, пряча что-то под шинелью.

— Марк! Марк!

Но Марк уже был за дверью.

Вари в комнате не было. Она вошла, когда я положил хлеб на стол и думал уже уходить.

Не застав мужа, она быстро нагнулась, посмотрела под кровать, и вдруг бросилась на подушку.

— Мерзавец! Негодяй! . . Так и знала! . . И туфли. . . Господи! . . Пронюхает! . . Всё. . . всё пронюхал! . . — Варя плакала, как ребенок, вздрагивая всем телом. Ноги ее, в рваных и грязных чулках, беспомощно свисали с кровати.

— У-нес! . . У-унес! . . — уже тихо всхлипывала она. — Последнего лишил. . . на улицу выйти. . . продаться. . .

Ее золотые волосы поползли с подушки на одеяло. С одеяла под кровать. Под кроватью стояла изношенная пара сапог. Несколько золотых прядей упали на голенища. . .

В палате меня встретил Костя.

— Не слово, а сила. . . Не мы, а бог. . .

— И вот его императорское величество. . . — Полковник поднял голову. — Так точно! . . А в это время. . . К церемониальному маршу! . . — вдруг закричал он. — По-ротно! . . На одного линейного дистанцию. . . Первая ро. . .

— На минутку! — позвал меня ординатор, остановившись в дверях. — Слушайте... Завтра мы вас эвакуируем. На Новороссийск, конечно. Оттуда? Не знаю, но думаю, на Принцевы острова. Вас и еще 6 офицеров — нервных. Да, необходимо торопиться. Красные подходят к городу и, говорят, расстреливают всех причастных к движению. Вот он и конец! Настал все же!..

За окном ползли густые сумерки.

«Только попрощаюсь!» — думал я, опять подымаясь к комнате Марка. — «Вот и конец!..»

На лестнице было темно. За подъездом гудел всегда тихий переулок. Проходила артиллерия.

— Левой, твою мать!.. левой, говорю... в горло! — кричал кто-то сквозь грохот и гул тяжелых колес.

Я постучал.

— Можно войти? — Никто из комнаты Марка мне не ответил.

— Можно?

Опять молчание.

Тихо отворив дверь, я вошел в комнату, и стал медленно пятиться назад.

На фоне залитого луной окна висел Марк. Черные губы его были раскрыты...

«Прощайте, Ксана!» — писал я ночью в тетради Кости. — «Прощайте еще раз... Я не знаю, дойдут ли до вас когда-либо эти строчки. Все равно!.. Я счастлив и тем, что имею возможность хотя бы утешить себя мыслью о том, что беседую с вами.

«Помните, Ксана, — Я много думаю... Я не могу не думать... Это твои слова, Ксана. Сегодня я тоже думаю. Всю ночь. О чем, не буду писать. О слишком многом!..

«Завтра я уезжаю из Екатеринодара. Послезавтра, или днем, двумя позже его сдадут. Ночь сегодня бесконечно долгая... Прощай, Ксана. Мне очень тяжело быть этой ночью одному, здесь, среди людей, уже разбивших себе головы. Помните?.. Ксана, ты меня слышишь?..

«Ваш Костя спит. Я не могу спать. Среди многого другого я думаю еще о том, — кто соберет теперь его разбитые детские мысли!?

«Завтра мы отходим за Кубань.
«Прощай, Ксана.
«А отчего ваша мать в Крыму? . .»
За окном светало.

Вечером следующего дня санитарный поезд 1-го Сибирского хирургического отряда медленно отходил от Екатеринодара.

Не доходя до Кубани, перед самым мостом, он остановился. Я высунул из окна голову и долго глядел в темноту.

В три-четыре ряда к мосту тянулись обозы беженцев и войсковых частей. За ними, играя далекими огнями, молчал Екатеринодар. Над Екатеринодаром проходили низкие черные тучи. Они ползли на нас, все ближе и ближе, — а мне казалось, Екатеринодар под ними все глубже и глубже опускается вниз. . .

НОВОРОССИЙСК.

Третий день бушевал над Новороссийском норд-ост.

Длинные, сине-черные волны на Главном рейде бежали вдоль берега, взбрасывая вверх оторванные от пристани бревна и доски. Бревна становились на-дыбы и, ударяясь друг о друга, гремели, как далекие орудия. За рейдом море казалось белым. Морская даль гудела.

Мы вышли из вагона и пошли к горам, по направлению к цементному заводу.

Под стеной завода, укрывшись от ветра, длинноногие солдаты англичане играли в футбол. Под голом, согнув голые колени, метался голкипер. За ним стояли офицеры. Покуривая трубки, они спокойно наблюдали за игрой.

— Нет! Пойдем к морю, — сказал я. — Там все же — свои. . .

На пристани, обступив караул из добровольцев, толпились кубанские и донские казаки.

— По приказанию генерала Ку-те-по-ва!—кричал караульный начальник, офицер-корниловец, прикладом винтовки сдерживая наседающих на него казаков.

— Не хотели воевать? К матери теперь! К ма. . .

— Пусти, говорю, к пароходу! Генерал Сидорин, говорю. . . — кричал старый казак-гундоровец. . . Борода его

трепалась под ветром. Шинель взлетела вверх. Под сапоги, яркой, красной лентой бежали лампасы.

— Не пустишь? Пущать не велено! — всё ближе и ближе подступал он к корниловцу. — Не пу-у-у-стишь?

Побросав на пристани седла, остальные донцы по-бабьи растерянно размахивали руками.

— Да разве не вместе сражались?!..

— Не одну, что-ль, кровь проливали?!

— А на Касторной? Забыл?.. А под Луганском?..

— Подождите! — грозил кулаком гундоровец, уже отступивший под ударом винтовки. — Подождите! Вот заявятся наши части... Заявятся вот с фронта!..

— Осади-и!..

А на рейде, пока еще на якорях, качались пароходы, уже нагруженные беженцами. В стороне от них, около нефтяных пристаней, окруженный миноносцами, неподвижно, точно вросший в воду, стоял английский броненосец «Император Индии». Дальше, почти на черте синего рейда и седого вспененного моря дымил французский «Жан-Жак Руссо». Мимо него, ныряя, как легкая шлюпка, выходил в море наш маленький узконосый «Дон».

— Этот кого погрузил? — спросил я идущего со мной поручика-алексеевца.

Алексеевец пожал плечами.

За мостом над железнодорожными путями подымалось солнце. Подымаясь, оно цеплялось за крыши вагонов. Вагоны на путях стояли бесконечными рядами. Паровозы первых поездов упирались в море. Последние поезда, как рассказывали вновь прибывающие беженцы, стояли под станцией Тоннельной.

— И всё новые и новые прут! — еще утром сказал нам молодой эфрейтор сводно-партизанского отряда. — Так к вечеру, пожалуй, до Крымской дотянутся!..

Вдоль вагонов серою, унылой цепью медленно тянулись казаки, офицеры, солдаты и беженцы.

— Господа, а где сейчас противник? — спросил группу офицеров мой сосед по вагону, раненый в голову капитан артиллерист с бронепоезда «Князь Пожарский».

Ему никто не ответил. Цепь тянулась и тянулась дальше. На берегу она расползалась в обе стороны. Густой гул

тысячи голосов уже доносился к нам с берега, заглушая тяжелые вздохи ворочающегося под ветром моря.

Солнце поднялось над мостом и остановилось.

— Не время ли? — спросил капитан-артиллерист.

— Пожалуй!

Мы зашли за вагон и сели обедать.

Ветер сюда не забегал. Он бежал над крышами, и над крышами швырял песок.

— А ну! — И я встряхнул котелок. — Придвигайся!

Комса была покрыта рыжими кристаллами соли. Горечь стягивала рот.

— Гадость какая! Чорт! . . — плевался капитан-артиллерист. — И хлеба ни крошки. . .

— Смотрите, господа! — вдруг поднял голову поручик-алексеевец. — Ах, сволочь какая! . .

В пяти шагах от нас, прислонясь к вагону соседнего состава, стоял английский солдат. Он держал в руках большой толстый ломоть белого хлеба, густо смазанный медом. Крутые челюсти англичанина мерно двигались.

— Харю как вздуло, ишь дьявол! . . — а всё ему мало!

— Пирожное. . . скажу я вам!

— Не нашей жратве подстать! . .

Англичанин повернул голову, улыбнулся, подошел и, заглянув в наш котелок, не торопясь, опустил в карман руку.

Мы смотрели на него исподлобья.

А англичанин тем временем достал перочинный ножик, спокойно открыл его и, отрезав надкусанный край, протянул нам ломоть, вновь улыбнувшись. На его пальцы желтыми капельками стекал мед.

Мы как-то сразу опустили глаза, потом сразу встали и вошли в вагон.

Котелок за нами опрокинулся. Несколько рыбок покатились по песку.

К вечеру на следующий день мы сидели в вагоне. На верхней полке горел огарок. Стеарин капал на скамейку. Я ловил на рубахе вновь появившихся вшей и, задумавшись о чем-то, топил их в еще не застывшем стеарине. . .

Но вот в вагон вбежал поручик-алексеевец.

— Господа, в город фронтовики входят. Может-быть, идут и наши полки. Господа, ай-да в город!

Мы побежали.

Наползая друг на друга, точно льдины на весенней реке, на Серебряковскую улицу въезжали подводы.

— Сво-ра-чи-ва-ай! . .

— Да куда? . . Чорт! — кричал кто-то с крайней телеги.

— Сво-ра-чи. . .

Но телега уже опрокинулась. На нее, рванувшись вверх, налетела вторая.

— Эй, поручик! . . Поручик Зубов! . .

Испуганная сестра, с двух сторон сдавленная тачанками, махала рукой.

— По-ру-чик Зу-бов! . .

— Прыгайте, прыгайте! . .

. . . Лошади хрипели. Мы стояли на панели, прижавшись к мокрым стенам.

В город входили не фронтовики. Это были обозы с офицерскими семьями, беженцами и дезертировавшими с фронта частями, обогнанные нами еще на мосту под Екатеринодаром.

Паника в городе росла. Часам к восьми вечера она докатилась и до санитарных поездов.

— Ах так!

Капитан артиллерист встал и подошел к дверям вагона.

— Так! Эта сволочь не зна-ет? . . Хорошо! Я сейчас же пойду. Я добьюсь. Я спрошу самого заведующего эвакуацией. Я пойду к генералу Карпову.

— Идите, капитан!

— Капитан, узнайте!

— Капитан!

— Господин капитан! . .

Больные и раненые тянулись к окнам.

За окнами было темно. Только высоко в небе ныряли быстрые лучи прожектора. Где-то вдали стреляли.

Над рейдом метались пароходные гудки.

— Господин капитан! . . Слышите, господин капитан? . . Уходят! . . Уже уходят! . . Господин капитан! . .

— Бро-са-а-ют!

. . . Я вышел из вагона вместе с капитаном. Подползая под соседними составами, мы быстро вышли на дорогу в город.

— Говорят, Деникин и Сидорин, как псы, грызутся, — рассказывал мне капитан. — Деникин, говорят, донцам один только пароход предоставил. Ну-у-у знаете, поручик, раз целую армию бросают, — нас, битый хлам, и сам бог велит! Чорт дери, — довоевались, поручик!

— Бра-атцы! Продают! Продают, братцы!.. Станичники! — кричал в темноте казак, зачем-то обхвативший руками телеграфный столб возле дороги. — Сперва все силы повынимали... нами же, братцы, куражились, а теперь, бра-а-тцы... А те, которые с чемоданами... С чемоданами которые...

Кувыркаясь в проводах, над столбом звенел ветер. По дороге, мимо столба, мчались всадники.

— Стани-и-и...

— Ну, хорошо, я пойду!

И пройдя несколько улиц, я оставил капитана и опять пошел к санитарному поезду.

В горах за городом шли бои с зелеными. В городе тоже стреляли. По улицам бежали офицеры, солдаты и казаки. Согнув спины, они тащили тяжелые кипы мануфактуры. Кипы разворачивались, и длинные черные полосы материи яростно бились под ветром.

— Вы с фронта? — схватил я за шинель какого-то бегущего офицера. — Послушайте! Эй!..

Офицер остановился и бессмысленно на меня посмотрел.

Слова мои рвал ветер.

Я наклонился.

— Послушайте, где дроздовцы? Вы не... вы не слыхали?..

Офицер качнулся вперед и дохнул мне в лицо горячим и терпким запахом спирта.

— Послушайте!

Но офицер вновь качнулся. Качнувшись, взбросил вверх руку. Отскочить я не успел. Падая, он ударил меня по лицу.

Я повернулся и пошел. Уже быстрее. Потом побежал.

В городе громили винные склады. А с гор, все еще отстреливаясь, уже спускались строевые части.

Когда я вернулся к вокзалу, вдоль вагонов нашего санитарного поезда шли черные фигуры больных и раненых. Двери всех вагонов были открыты и бились под ветром.

— Поручик, идите скорей! А где капитан? — крикнул мне из темноты кто то. — Ведь не успеет! . . О, господи, ведь останется! . .

— Да иди, не задерживай! . .

Над черными фигурами медленно ползла темнота. . .

Отлогими концами хлестали о берег бегущие вдоль рейда волны.

Небольшой пароход «Екатеринодар» качало и подбрасывало. Подбрасывало и узкий, — в три доски, — мостик, брошенный с «Екатеринодара» на пристань.

— Сперва носилочных! . . Господа, порядок! . . По-рядок! . . — надрываясь под ветром, кричал главный врач нашего поезда.

На берегу, охраняя пристань, стояли юнкера Донского военного училища. За ними чернела толпа.

— Не напирать! . .

— Стрелять будем! . .

— . . . твою мать! Приказано! . .

И вдруг средь молодых, сильных голосов запрыгал старчески-дребезжащий:

— Прикладом? . . Прикладом, молокосос? . . Меня? . . Полковника? . .

Рассыпавшись цепью, юнкера двинулись вперед. Толпа отступила.

. . . .

— Все равно! Все равно теперь! . . Р-раз! . .

Чья-то шашка полетела в море.

. . . .

. . . .

— Господа офицеры! Господа офицеры! . .

— Честь, твою мать! . . Честь! . .

Пощечина. Крик. Стрельба. Ветер. . .

. . . .

. . . Порвав цепь юнкеров, мимо пристани промчались расседланные лошади. Высокий верблюд, черный на фоне неба, поднял по-птичьи голову и, плавно качаясь, пошел дальше. Вдруг калмык изо всех сил стал рвать поводья. Но верблюд остановился. Мимо него прошли три танка. Вот танки свернули к морю. На мгновенье остановились, потом вновь двинулись вперед и, медленно, точно ощупью найдя отлогий

спуск, пошли по отмели в воду. Над танками, гулко ударившись о горбатую броню, кувырнулись волны. Кувырнувшись, они вновь выпрямились и побежали дальше, — такие же пологие и ровные. . .

Насилочных уже внесли на «Екатеринодар». Прошли и с костылями.

— Держитесь! — кричал мне кто-то с палубы.

— Прыгай! — кричали с берега.

Мостик подо мной рвануло. Я спрыгнул на мокрые доски палубы и обернулся.

Поручика-алексеевца за мной уже не было.

Норд-ост крепчал. . .

Ночью с 12 на 13 марта «Екатеринодар» вышел в море.

Свидетелем «13 марта» в Новороссийске я не был.

. . . Когда 13-го под утро я выполз из трюма, над кормой «Екатеринодара» всплывала заря.

— Нет, не на Константинополь! — сказал я ефрейтору сводно - партизанского отряда. — На запад. . . В Крым, значит! . .

Винт за кормою гудел. Быстрыми петлями кружился над мачтой ветер.

ЧАСТЬ III

(апрель 1920 — октябрь 1920).

Над Севастополем плескалось весеннее солнце. Токарь Баранов сошел по лестнице. На дворе остановился и, подойдя к окну, кивнул подпоручику Морозову.

Подпоручик Морозов сидел на подоконнике. Рука его все еще была подвязана. Лицо осунулось. «Два сапога—пара!»— говорили про нас товарищи-офицеры. «Кащей-Бессмертный и Бессмертный Кащей! Тень на плетень! . .»

— Ну а насчет английского ультиматума как? Не слышно о перемирии? . . — спросил токарь, положив локти на подоконник.

— Нет, опять не слышно. . .

— Та-ак! . . — Токарь вздохнул. — Ну я пойду! — и, надвинув картуз на брови, отошел от окна.

Я стоял тут же в комнате. Курил махорку, пытаясь припомнить, с кем из солдат и офицеров брошенного в Новороссийске батальона 3-го Дроздовского полка был я знаком. Некоторых припомнил. Загарова, подпоручика. . . Вольноопределяющегося Лемке. . . Капитана Перевозникова. . .

— Расстреляют, как вы думаете? . .

. . . Токарь скрылся за воротами. В воротах показался ротный писарь. Писарь остановился и, беседуя с кем-то, повернулся к нам спиной.

— Скоро и роты придут, Николай Васильевич.

— Да, скоро. . .

Ни я, ни подпоручик Морозов на ученье еще не выходили.

— Чорт возьми! . .

— Брось чертыхаться! . .—И помолчав, подпоручик Морозов вновь вернулся к давно прерванной беседе.

— ... Те, очевидно, кто командованье примет.
— А кто примет? .. Как ты думаешь? ..
— А разберешься? ..

К окну подошел писарь. Протянул на-двое сложенный приказ по полку. Подпоручик Морозов одной рукой неловко его развернул и вдруг стал расправлять, положив на подоконник.

«Генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим вооруженными силами Юга России. Всем, честно шедшим со мной в тяжкой борьбе — низкий поклон. Господи, дай победу армии, спаси Россию...»

Над Севастополем плескалось весеннее солнце. С этого дня ни токарь Баранов, ни солдаты о перемирии больше не спрашивали.

ПАСХА В СЕВАСТОПОЛЕ.

— На кого чорта куличи! .. Вино и водка...
— А у нас, господа, не только куличи, — но и сырная пасха будет.

В комнате было накурено. Подпоручик Басов, взводный 3-го взвода, поручик Науменко, взводный 4-го, мой заместитель подпоручик Виникеев, и заместитель подпоручика Морозова штабс-капитан Пчелин играли в карты. Поручик Злобин, командир 5-й роты, наблюдал за игрой.

— Ну, а как же капитан Карнаоппуло? Без сладкого? ..
— Всем не угодишь! .. И так денег мало, — на водку.

Дождь бил в окно. Над нами, в мастерской токаря Баранова, пели солдаты.

— Да к чорту, наконец, ваши карты!

И сбросив на ходу насквозь промокшую шинель, подпоручик Ивановский сел прямо на стол.

— Господа! ..
— Подожди! .. — вбежал за ним поручик Матусевич, — тоже 7-й роты. — Подожди ты! .. По порядку! .. Я расскажу...

— Ну, конечно! .. Девчонки там разные, ножки, панталончики... — через минуту уже рассказывал он. — Буржуи

хлопают... Мы хлопаем... Браво!.. Потом этот самый вышел, — Павел Троицкий. Морда, — что лимон. Хохот. Буржуи хлопать. Мы хлопать. «Павлуша!.. Павлуша!..» А Троицкий — поклоны. Направо — поклон, налево — поклон. «Павлуша!.. Павлуша!..» Тут Павлуша этот самый — подбородок вперед вытянул, рожу идиотскую склеил и начал насчет России прохаживаться. Шесть уездов, говорит, вот вам и вся «Неделимая». Утром выйдешь, к полдню — море... Повернешь — опять море... И делить, говорит, нечего!.. И все в этом роде. И все в стихах... Буржуи хлопать. Мы: «Стой, стерва!.. Ты сперва повоюй, твою мать в корюшку» — и свистеть, свистеть... А Ивановский — на кресло. Да наганом — на толпу. Ну, конечно, — врассыпную!.. А он — раз! раз!.. — осечки. Раз!.. Я его за руку. «Да он не заряжен!» — орет кто-то. Троицкий, что ли... — «Так и по большевикам бьете, господа офицеры?..»

— Ты! Наган бы лучше чистил!

Подпоручик Виникеев встал.

— Позоришь только, гороховый шут!..

* * *

...В ночь под пасху на улицах Севастополя густо гулял народ. Над Малаховым Курганом мигали низкие звезды, мелкие, как песок. Звезды над городом не мигали. Круглые и спокойные, они только изредко опускались за тучи. Тучи бежали быстро. Быстро за ветром уплывал с колоколен и веселый пасхальный звон.

— Тыл живуч и неизменен, — говорил мне подпоручик Морозов, вышедший со мной на улицу. — Неделя паники... Пригнет голову, как под наганом Ивановского, и вновь лоснится довольной харей...

Я перебил его.

— Николай Васильевич, а пить сегодня будешь?

— Не знаю... А хочется... — Не пить, а головой куда, — в пропасть!..

...Прошел, качаясь, пьяный корнет. Одна шпора его звенела. Другой на сапоге не было.

А из церкви на Чесменской выходили толпы народа. Нас захлестнуло и повлекло вниз по улице.

— «Христос во-скресе из мерт-вых», — вполголоса пела какая-то девица, помахивая мятым нарциссом.

— «Смер-тию сме-ерть. . .», — подтягивал ее спутник-студент, влюбленно на нее поглядывая.

— Христос воскресе! Ну, а воистину? . . Ну что же? . . — упрямым басом повторял кто-то за нами.

— Ах, вам бы целоваться только! . .

Бас сердился:

— А вам без прилюдий, так сказать? . . Да в кровать прямо! . .

— Нахал!

Но в женском голосе не было ни злобы, ни раздраженья.

— Поручик хочет.

«Мадам хохочет. . .» — запел, засмеявшись, третий голос.

А мимо нас, мимо девицы с нарциссом и ее влюбленного студента, мимо высокого поручика с сердитым басом и его щуплой, смеющейся барышни шла, флиртуя и улыбаясь, богато разодетая, праздничная толпа.

Но вдруг толпа вздрогнула. Влюбленный студент бросил девицу и, работая локтями, метнулся в переулок. Бросились назад и три каких-то щеголя в кэпках. Коммерсант в котелке быстро обернулся. И еще раз, — в другую сторону.

— Где? . . господи! . . — Его толкнули.

— Стой! . . — неслось из темноты за дворцом командующего флотом. И опять: — Сто-ой! . .

Рассыпавшись в цепь, офицерская рота нашего полка уже окружала толпу.

Офицерская рота производила мобилизацию.

Гурали Мильтоныч, толстый, седой армянин, хозяин квартиры, в которой стояли ротный и штабс-капитан Карнаоппуло, разливал водку.

— Христово воскресенье, значит — воскресенье! . . Пей, ребята! . . — кричал ротный. — И что такое жизнь офицера?! . Вот ты. . . Ты вот скажи! . . — и взяв подпоручика Морозова за ворот гимнастерки, он перегнул его через стол. — Ты у нас философ. . . Ну и скажи: что такое есть жизнь офицера? . .

— «. . . Видел он, что Русь свя-та-я» — пел штабс-капитан Карнаоппуло, развалившись в косом от старости кресле.

. . . — свя-та-я. . . Садись, душа моя Нина! . . Не святая ведь! . . А? . .

Нина, полногрудая, прыщавая дочь хозяина, придвинула стул. Штабс-капитан быстро ее обнял.

— Баб святых не бывает! . . — и, икнув, запел заново:

— Видел он, что Русь свя-та-я
Угасает с каж-дым днем. . .

— Нина! . . Вы любите дроздовцев? . . Он — это генерал Дроздовский. . . Господа, за генерала Дроздовского: ура! . .

Но поручику Ауэ было не до генерала Дроздовского.

— И ты? . . И ты ска-зать не хочешь, что есть наша жизнь офицера? . . Ты? . . Философ? . .

— Уга-са-ет с каждым днем,
Точно све. . ., точно свеч-ка до-го-ра-а. . »

Нина, вы любите свечки? . . — Засмеявшись, штабс-капитан навалился на Нину плечом.

— Свечки, вы понимаете? . .

. . . Хозяин-армянин разливал водку.

— Пьешь?

— Пью — ответил мне глухо подпоручик Морозов. А ты? . . Пьешь? . .

— Пью.

— Мало пьешь! . .

Ротный вскочил и замахал бутылкой.

— Сюда! . . Сюда иди! . . Пей! . . Не хо-чешь? . . Садись, немчура, — пей! . . Ах ты, немец, барон Врангель ты! . . Вильгельм! . . Пей твою мать, Deutschland über alles. . . твою. . . —

— Russland über alles. . . закричал остановившийся в дверях поручик Ивановский — Russlannnnd! . .

. . . А хозяин-армянин все разливал и разливал водку.

Мокрая после дождя улица блестела под солнцем. На другой стороне, около ворот двухъэтажного дома, стоял мальчишка. Мальчишка тянулся к ручке звонка. Но она уплывала из-под его рук. Какой-то нищий шел на костылях через улицу. Костыли были кривые, как коромысла. Коромысла гнулись.

— Зачем, дед, на коромыслах ходишь? Слушай, зачем на кара-мыслах? . .

— Лаваш, лаваш! — прошел торговец.

«La vache — по французски корова. . . корова, — стал припоминать я, — j'ai, tu as. . .»

. . . Под воротами нашего дома меня поднял Зотов.

Когда я проснулся, на окне комнаты расползались красные лучи солнца. Около окна стоял подпоручик Виникеев. Подпоручика Виникеева рвало.

Я встал. Взял его под руку.

На дворе было совершенно тихо. Взвод точно вымер.

— Вы думаете, я пьян? — лепетал над моим плечом подпоручик Виникеев. — Я всего только наве-се-ле — на-весе. . .

К воротам подбежал токарь Баранов.

— На-ве-се. . . на-веселе я! . . Вот что! — Баранов выбежал на улицу и быстро захлопнул ворота. Встревоженная под воротами лужа играла широкими, красными от вечернего света кругами.

Поставив подпоручика Виникеева возле бочки, я пошел обратно в комнату. По лестнице, кажется, из мастерской токаря спускался штабс-капитан Карнаоппуло.

— Токарь и большевик есть синонимы, — сам с собою беседовал он. — А потому. . . как всякие вредители. . . э-э-э. . . по-длежат. . . э. . . уничтожению. . . Эй! чего хохочете! — вдруг закричал он, задрав голову. Столпившиеся на верхней площадке солдаты разбежались.

. . . Голова моя болела. Плечи тянуло вниз.

На следующее утро, часов в 11, роту построили.

— Нет, всем строиться! — крикнул мне ротный. — Всем! . . Да не на учение, — к штабу зачем-то. . .

На дворе штаба полка сидели и лежали мобилизованные. Когда наша рота вошла во двор, их подняли и вывели.

Пришла 5-я рота. Потом 8-я и 7-я. 7-я пела:

— . . . надви-и-нув кивер свой пехотный,
Выйду я на улицу, печата-я с носка-а. . .

Подпоручик Ивановский, в числе запевал, — пел громче всех.

— Эх, песнь моя! — играл и звенел его голос. — Любимая!

Буль-буль-буль бутылочка казенного вина!

— Смотри-ка, стаяло все. А ногам холодно! — жаловался кому-то Зотов, подымая то одну, то другую ногу, обутые

в порыжелые, рваные сапоги. — Ну и вот, значит, — эх, холодно! — как убег, значит, Баранов, так и не возвращался больше. Уж больно это его господин капитан Карнаоппуло пригрели. И станок его расколотили, и пороть собралися. . .

Наконец батальон выстроили.

Появившийся в дверях штаба генерал Туркул улыбался. За ним шла какая-то женщина, в старом поношенном пальто, из-под которого виднелись складки дорогого платья. Когда женщина сходила по ступенькам, платье торжественно шуршало.

— Пожалуйста! . . Будьте так любезны! . . — сказал женщине генерал Туркул и опять улыбнулся.

Женщина стала обходить роты. Перед некоторыми солдатами и офицерами она подолгу останавливалась. Остановилась она также и передо мной.

— Этот? — спросил Туркул.

Женщина вздохнула. — Нет! — потом подняла брови и пошла дальше.

— Этот?

Генерал Туркул от нее не отставал.

— Нет, не этот. . .

— Этот?

— Этот, ваше превосходительство! — сказала она наконец, остановившись перед подпоручиком Ивановским. Подпоручик Ивановский, — вдруг, — сразу побледнел.

— И этот еще, ваше превосходительство. . .

Потом батальон развели по квартирам. Подпоручик Ивановский и унтер-офицер Сахар была оставлены при штабе.

Уже вечерело. . .

— Такой хороший офицер! . .

— С чего хороший! Уж Врангель подтянет. . .

Подпоручик Виникеев доел брынзу, и старательно собрал со стола крошки. — Врангель всех, господа, подтянет.

— И подтягивать нечего! . . С пьяных глаз, конечно. . .

— Конечно, с пьяных! — Подпоручик Басов бросил на пол догоревший окурок. — Не бандит ведь, слава тебе господи! И на кой ему леший эта дрянь, — жемчуга эти понадобились! . .

— Не бандит, а туалеты взламывает! . . А на кой — известно: бросьте, поручик, дурака разыгрывать! — Вытирая

губы, подпоручик Виникеев улыбнулся. — А знаете, господа, сколько дрянь эта стоит? . .

— Идут! . . Идут! . . — закричали вдруг на дворе солдаты. Мы выбежали.

За воротами — к штабу полка — шло одно отделение офицерской роты.

Через час подпоручика Ивановского и унтер-офицера Сахар расстреляли.

Кто была женщина в поношенном пальто и дорогом, шелковом платье, я не знаю. . .

А еще через час штабс-капитан Карнаоппуло прибежал к нам на двор.

— Ну как, пришел Баранов? — услыхал я сквозь открытое окно.

— Никак нет, господин капитан!

Ефрейтор Плоом вытянулся и взял под козырек.

— Ну так вот что, ребята! У него там наверху какой-то красный диванчик имеется. . . Там, в коморке. . . Знаете? . . Ну вот! . . Срывай с него, ребята, бархат! Шей погоны! Да живо!

. . . При вечерней перекличке вся 6-я рота была уже в новых бархатных погонах.

В ту же ночь нас неожиданно подняли.

А под утро, когда солнце еще только всходило, Дроздовскую дивизию погрузили на пароходы и отправили десантом на Хорлы.

Меня и подпоручика Морозова, как не вполне еще окрепших, оставили в Севастополе, — при хозяйственной части.

— Помнишь библейскую историю с Красным морем? — взяв вечером метлу, спросил меня подпоручик Морозов. — Когда отряды Моисея проходили море, — оно расступилось. Помнишь? . . Прошли, — море хлынуло назад. Так и сейчас. Дрозды прошли, и — смотри-ка! . .

Через двор шел токарь Баранов. За стеной в соседней комнате звенел женский смех; в квартиру, комнату которой мы занимали, вернулась хозяйка-еврейка с дочерьми курсистками.

— Да. . . — сказал я, подумав. — Но нас, брат, не захлестнуло.

— Пока! . .

И подпоручик Морозов вдруг отвернулся.

Подметая комнату, он изо всех углов извлекал пустые бутылки. . .

«CREDO» ПОДПОРУЧИКА МОРОЗОВА.

Прошло недели две.

Вернувшиеся с Хорлов, Дроздовские полки давно уже расквартировались по деревням Евпаторийского уезда. Хозяйственные части также готовились к переезду. Собрались и мы с подпоручиком Морозовым.

— Завтра, Николай Васильевич?

— Завтра.

— Пешком пойдем?

— Пешком. . . Ну ее к богу, — хозяйственную! . .

Был уже поздний вечер. Развязав вещевой мешок, подпоручик Морозов разбирал свои немногие вещи. За стеной пела дочь хозяйки:

— Как цветок голубой
Среди снежных полей. . .

— Что ты там уничтожаешь? — спросил я Морозова, который рвал какие-то мелко исписанные листы бумаги.

— Так, чепуху всякую. . . Записки. . .

— Твои?

— Мои.

— А ну, покажи! . .

Подпоручик Морозов замялся.

— Да покажи! . . Чего там! . .

— Ну ладно! . . Он протянул мне несколько листиков. — Но ведь это. . . интересно только для. . . только для меня обязательно. . .

— Светлый луч засверкал
Мне из пошлости тьмы, —

опять запела курсистка.

— Циля! . . Циля! . . — перебила ее другая. — Смотри, Циля! . .

. . . «и пусть белый не станет красным, а красный белым», — с трудом разбирал я упавший на бок почерк подпоручика

Морозова, — «но годы гражданской войны откроют, наконец, наши глаза, и белый увидит в красном Ивана, а красный в белом — Петра. . . Утопия? . . Может-быть! . . Но я привык верить своему сердцу. . .»

Я поднял глаза и посмотрел на подпоручика Морозова. Он все еще сидел против меня и, смутившись, смотрел в окно. За окном было темно. Только угол соседнего дома освещался нашим окном и выпирал из темноты желтым, тупым треугольником.

«А пока что, — вот в этом вся и бессмыслица», — читал я дальше, — «пока что — я должен тянуть эту лямку. Отступающий всегда гибнет. Я погибнуть не хочу. И вот белое движение волочит меня за собой. Идея, способная на вырождение, не есть идея. Над идеей белого движения я ставлю крест. А бессмыслица ползет дальше. . . Я не верю в чудо, но к нашему несчастью генерал Врангель, очевидно, все еще верит. Не потому ли утвердил он новый знак отличия — орден святого Николая чудотворца? . .

. . . «На долгих путях от Брянска, через Севск, Харьков, Ростов, Екатеринодар до Новороссийской бухты люди тысячи раз теряли свою веру. Офицеры распродали награбленное имущество (заметьте падение цен!); распродав, занялись злостной спекуляцией (заметьте повышение!)». . .

Я улыбнулся — Ты экономист, поручик! — и взял следующий лист.

«Деникин низко поклонился и ушел. Я кланяюсь его честности. Кланяюсь не только низко, — до самой земли. И, господи, как был бы я счастлив, еслиб смог я поклониться еще раньше».

Я пропустил несколько строчек.

. . . «Так зачем же приехал Врангель и что он хочет? Впрочем, о Врангеле говорить трудно, — он утвердил орден св. Николая чудотворца. . . Приехать с ультиматумом о заключении мира и взяться за продолжение войны! . . Бросать людей, потерявших идею! . . Куда? . . На гибель? . . С чем он уедет? . .»

Я вновь перескочил через несколько строчек.

. . . «И недавний десант дроздов под Хорлами, десант, о котором мы, офицеры того же полка, не можем решить, блестящая ли это удача, или полное поражение. А зима. . .»

Дальше я разобрать не мог. Потом буквы вновь выровнялись.

«Да, так идут наши дни! . .

«Что делается за фронтом — я не знаю. . .

«Чем живут наши враги и чем они держатся — я не знаю. . .

«Я не знаю и того — только ли они мне теперь враги? . .

«Я люблю человека и жизнь, и когда те, что теперь за фронтом, стали дешево расценивать и жизнь и человека, я назвал их врагами. Моя ли это вина?

В ту ночь был белый ледоход,
Разлив осенних вод.
Я думал: вот река идет.
И я пошел вперед.

«А теперь? . .

«Токарь Баранов говорит: перемелется, мука будет! — так нужно для нового хлеба. Токарь Баранов не видит звездочек, чернильным карандашом нарисованных у меня на погонах, и говорит со мною по душе. Но я говорить с ним по душе не могу. Я эти звездочки вижу! . . Токарь, может-быть, и прав, но ведь если б зерно имело мозг, разум и волю, и если б оно знало даже, что молоть его будут для нового хлеба, оно все равно добровольно бы под жернова не ложилось! . .

«Впрочем, мысли токаря не мои мысли! . . Своих у меня сейчас нет. . . Я и пишу в надежде отыскать их, — так, случайно наткнуться. . . Мне очень страшно тыкаться мордой в пустоту. . . А победили меня свои же, и уже в первом бою,— под Богодуховым. . .

«Но и побежденный хочет жить и дышать. . .

«Господи, как трудно быть подстриженным под погоны! . .

«Я не могу уйти, — меня расстреляют. Я не могу не стрелять, — меня пристрелят.

«Я не могу. . .» Дальше было зачеркнуто. — . . . «Но я могу зажмурить глаза. . . Пусть несут меня события. Я верю, что неперемолотое для нового хлеба зерно тоже не пропадает. Упав во вновь перепаханную землю, оно даст ростки. Кто перепашет землю — я не знаю. Мне суждено умереть или дождаться. . .»

Я вновь поднял голову.

— Циля, да неужели правда?

— Ну конечно! Я же сказала... — вновь донеслись до нас голоса за дверью. — Я нашла здесь физиологию Данилевского, и теперь мы сможем...

— Идем в город! — вдруг коротко бросил мне подпоручик Морозов.

— Подожди!..

Третий лист был исписан крупнее. Читать стало легче.

«Вы или мелко плаваете, — говорят мне офицеры поумнее, или просто трус, уходящий в свою скорлупу...»

Я улыбнулся.

— Говорят?

— А как же!..

— Это ты?.. трус?..

— А как же!.. Впрочем... Да идем в город!..

— Да подожди ты!?

«...Ничего не говорят. Офицеры поглупее пьют, играют в карты, рассказывают анекдоты и хохочут, как автомобильные гудки. И потому, что вместе с ними не понимаю я ровно ничего, я могу еще иногда улыбаться, могу жить и даже надеяться выжить. Иначе пришлось бы (вот сейчас!) итти на понтонный мост и там, где поглубже, где мальчуганы удят рыбу, головой вниз броситься в Северную бухту.

«...Сегодня я гулял по улице Матроса Кошки. В грязи возились ободранные ребятишки всегда веселой Корабельной Слободки. Я смотрел на них и тоже улыбался...

«А завтра — может-быть завтра я вновь уеду на фронт.

«Какая бессмыслица!..

«Вы хотите знать мое «credo»? Мое «credo» в упрямом сознании, что бессмыслица когда-нибудь осядет, и что человек, нравственно не подгнивший, не осядет вместе с нею...»

Говорить ни о чем не хотелось. Мы вышли молча, и пошли в городской сад.

В саду гулял народ.

Мимо нас прошли два французских матроса, окруженные проститутками. Проститутки учили их заборным словам. Французы смеялись и, выкрикивая эти слова, коверкали их по-своему.

На поплавках над бухтой играл военный оркестр. За поплавками, далеко в море, стояли какие-то крейсера, кажется, французские.

— Пойдем к воде! — сказал мне подпоручик Морозов.

Под ветром, бегущим с моря, спокойно качались черные кусты. В кустах сидели парочки. Пробирались к кустам и французы с проститутками.

«Бо-же ца-ря хра-ни. . .» —

— поплыли вдруг над садом звуки оркестра с моря. Подпоручик Морозов остановился.

— Идем домой! . . Да идем же! . .

— Под козырек! Под козырек! — на главной площадке сада кричал кто-то. . .

А французы в кустах продолжали смеяться и, выкрикивая заборные слова, все больше и больше их коверкали.

На следующее утро мы вышли в полк.

К порванным листам наши разговоры больше не возвращались.

Впрочем, как-то я сказал ему:

— Слушай! . . Сбрей бороду! . . Ты все-таки не апостол! . .

ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ.

Был еще только май, а уже степи вокруг деревни Подойки успели выгореть под солнцем. Над степью ползла пыль. Она ползла особенно густо, когда по вечерам к татарским деревням сходились стоголовые стада длинношерстых белых овец.

Занятия в полку производились по утрам и к вечеру. Днем солдаты спали.

— Скажите, поручик, куда это вы постоянно уходите? — спросил я как-то подпоручика Басова. — Лишь выпадет свободный часок, вас, — до свидания! — и не видать больше! . .

— Поручик в колонии девчонку нашел! Немочку? А? — подошел к нам поручик Науменко. — Вот уж действительно седина в голову, бес в ребро!

Подпоручик Басов ничего не ответил.

Во время хорловских боев поручика Ауэ легко ранило. Кажется, в кисть руки. Роту принял поручик Кумачев, присланный к нам из 3-го батальона. Вместе с ротным был также ранен и штабс-капитан Пчелин. Подпоручик Виникеев был убит. В числе 12-ти солдат нашей роты был убит и эстонец Плоом.

С новым ротным штабс-капитан Карнаоппуло не ладил.

— Отправлю вас в офицерскую, — сказал ему как-то поручик Кумачев. — Слыхал я про ваши геройства в обозе, как же, слыхал!..

Штабс-капитан быстро, на каблуках, повернулся и пошел к своей хате. Через час он вновь вернулся, уже с четырьмя золотыми нашивками на рукаве.

— За один час — да четыре ранения! — засмеялся поручик Кумачев, опускаясь на заваленку перед хатой. — Здо́рово!..

В это время к поручику Кумачеву подошла какая-то тощая собака. Она подняла вверх черную круглую морду и глубоко в себя втянула воздух. Поручик Кумачев поднял стэк и с силой ударил собаку по носу. Собака взвыла и побежала по степи.

— Капитан, нашейте пятую!

Дымок над крышами бежал ровными голубыми полосами. На голубые полосы ложилось лиловое небо. Небо тяжелело. Со стропил недостроенной церкви сползало солнце.

Мы шли с учения.

— Гляньте, господин поручик! — повернулся ко мне рядовой Зотов. — Никак пополнение!..

— Пополнение? — Поручик Кумачев поднял бинокль. — А и правда!.. А ну, ребята: по хатам — ура!

— Ура!

Размахивая винтовками, солдаты бросились по халупам.

Взвод пополнения стоял и возле нашего двора. Когда я вошел во двор, из хаты, уже без винтовки, вышел подпоручик Басов. Выйдя на дорогу, он ускорил шаг и пошел по направлению к колонии Мальц. По дороге перед ним бежала длинная тень, точно вдоль реки быстрая, острогрудая лодка.

— Здоро́во, молодцы! — крикнул за мной поручик Кумачев.

Прибывший взвод ответил умело.

Это были старые николаевские солдаты, посланные царским правительством во Францию и теперь отправленные французами назад «на родину».

Унтер-офицер Горохов и ефрейтор Телицын собрали возле себя чуть ли не всю роту.

— К примеру у них, скажем, Марсель есть. Город такой, мон плезир, одним словом... — рассказывал Горохов. — А я в нем все одно как в деревне своей, прямо-таки по обыкновению расхаживал... И вот, ребята, подходит ко мне ввечо́р одна мамзель французская. А в чем душа у ей держится — и неизвестно, если говорить по откровенности. Уж больно мне всё в ней слабосильным показалось... Мамзель, говорю, пардон, но не с такими мне хаживать!..

— ... от милитаризма! — солидно докладывал другой группе ефрейтор Телицын. — И еще, земляки, вандализм у германцев сильно был развит. И все, значит, супротив Франции. Э-эх, да ничего вы и не видели!..

— Да ну-у-у?.. — спрашивал поодаль рядового Осова, взятого в плен под Хорлами красноармейца, высокий солдат в короткой французской шинели. — И действительно поотбирали?

— Правда говорю!.. — Солдат в короткой шинели наклонился над самым лицом Осова.

— ... И мы, брат, заявляли!.. Нас, заявили мы, большевицкой властью не стращайте!.. Мы сами, как вам, граждане, может-быть, и известно...

Осов быстро ткнул его в бок. Оба замолчали.

Я вошел в хату.

Вечерний свет едва пробивался сквозь маленькие узкие окна. На лавке под окном сидел слепой Антон, брат нашего хозяина. Его изрытое германской шрапнелью лицо было поднято вверх. Над впадинами глаз свисали желто-лиловые мягкие бугры мяса, чуть-чуть прикрытые кожей. Носа у Антона также не было. Одни ноздри.

— Кто?

— Свой — ответил я.

— Слепому теперь все свои стали... А чего раньше-то думали?

Я поставил винтовку в угол и молча подошел к открытым дверям.

По дороге шли солдаты 5-й роты. Среди них «ефрейтор» Подольская, молодая, толстая доброволица, с кривыми ляжками, над коленями, обтянутыми синими галифе-диагональ.

— Здравствуйте! — еще издали кричала она гнусавым, как у сифилитика, голосом. — Здравствуйте, господа французы — цвет наш и сливки!

Вечером, когда мы лежали на траве за хатой и, пуская тучами дым, курили едкий крымский табак, к нам подошел поручик Злобин.

— . . . Ноги у ней воняют, под мышками болото, — рассказывал он, подсев к нам на траву, — вся вдоль и поперек истыкана, а вот, извольте видеть, ласк требует! . . Я ей говорю: Подольская, плыви на легком катере, да к матери к такой-то, а она, да сквозь зуб вырванный, да с этаким свистом, знаете, сладким: «Золотой мой! Единственый! Губ твоих хочу! . .» Ах, ты стерва! — Злобин сплюнул. — Губ хочет! . . Вот, господа, сойдись раз с бабой, липнет потом, как жидкий навоз на подметку. . .

Мы молчали.

Протянув руки, от сарая в хату прошел слепой Антон. По степи, за косым забором бежали голубые тени. Доплывал далекий звон колокольчиков и бубенцов.

По дороге из колонии Мальц возвращался подпоручик Басов. Подпоручик Басов пел:

«Во су-бо-о-ту. . . в день не-на-а-стный. . .»

Был воскресный день. Занятия не производились. На белых каменных заборах колонии Мальц золотыми пятнами играло обеденное солнце.

— Ишь, черти — просверлили! Метров до 200 будет! — сказал подпоручик Морозов, подойдя к колодцу посреди улицы и склонившись над срубом.

За колодцем, ведя за руку девочку лет пяти, шла старушка.

— Mahlzeit, Mutter! — крикнул я ей.

Услыхав немецкую речь, старушка ласково закивала.

Вскоре мы сидели у ней в хате и пили молоко.

— . . . Но ведь он любит нас, и он простит мне. Я не могу, сынок, не жаловаться, — говорила мне на каком-то мало понятном, швабском наречии колонистка. — И не на него в небе жалуюсь я, сынок мой, а на детей его, позабывших слово святое, а потому, сынок, и наказанных. Смотри, — и всё по писанию исполнилось. . . И брат против брата пошел, и мор, и голод. . . Грех один, и ответ один держим, сын мой. Вот и мы. . . ведь все наши свиньи, и телка наша. . . (Это, когда черкесы с аулов спустились). . . и телка

подохла... С Кавказа ведь далеко!.. А как дошли мы до Крыма, и как приняли нас... Да ты меня, сынок, слушаешь?

— Слушаю, бабушка...

А сидящий против нас подпоручик Морозов подбрасывал на коленях девочку и, забавно тряся бородою, лаял, как дворовый ленивый пес.

Дергая его за бороду, девочка смеялась.

Когда к вечеру мы возвращались домой, Морозов на краю колонии вдруг остановился.

— Смотри! Вот он, старик-то наш... Вот где он пропадает!..

На чисто выметенном дворе небольшого домика подпоручик Басов колол дрова. Гимнастерку он скинул. Фуражки на нем также не было. Над головой то и дело взлетал топор.

На пороге домика сидел бритый старик-немец. Немец курил трубку. Какая-то женщина погоняла хворостинкой тощих гусей.

— Не будем нарушать идиллии!..

И мы пошли дальше.

В степи около Мальца за пасущимися конями колонистов гнались донцы. Четыре лошади были уже пойманы. Их держал коновод. Верхом на крутоногом белом коне на дороге стоял казацкий полковник.

— Скоро наступать будем! — сказал мне подпоручик Морозов. — Донцов на коней сажают!.. Идем.

— Фельдшер Дышло у вас? — как-то вечером вбежал к нам во двор поручик Злобин. — Чорт возьми... Фельдшер Дышло!.. Фельдшер...

Через минуту, размахивая тяжелой медицинской сумкой, фельдшер Дышло уже бежал через поле.

Мы вскочили и побежали за ним.

... Ефрейтор Подольская стояла на четвереньках посреди офицерской халупы пятой роты. Она колотила по полу ногами и дико кричала, брызжа на руки слюною. Груди под ее гимнастеркой колыхались. Гимнастерка была также в слюне.

— Сулема, — сказал спокойно фельдшер. — Известное дело — сулема! — И выпрямившись, он стал озираться

вокруг себя. В халупе был невероятный беспорядок. Лишь плита была прибрана. На плите стояла кастрюля с молоком. Над кастрюлей вздымался пар.

— Ловко баба устроила!

Фельдшер Дышло подошел к печке.

— Ах ты, ахтерша ты, мать твою в порошок! И рассчитала-то во-время! .. Смотри, ки-пи-ит! А ну, господа... — Он поднял кастрюлю.—Спасай ее по ее же рецепту! Гады! ..

В тот же день, когда солнце опускалось за степь, и подпоручик Басов возвращался из колонии, мы видели, как под руку с поручиком Злобиным ефрейтор Подольская уже вновь отправлялась на сеновал.

Приказом на следующее утро генерал Туркул удалил из полка всех женщин не-сестер, а вечером того же дня, как раз в то же самое время, когда Злобин и Подольская отправлялись на сеновал в последний раз, верстах в четырех от нас, в колонии Гольдреген, застрелилась поручик Старцева, Вера, оставив короткую записку:

«Не могу перенесть обиды, первой со времен Румынского похода.

Поручик Старцев».

... Ни газет ни слухов.

— Завтра будет ясная погода...

— Хорошо бы борщ заказать, поручик Науменко! ..

Зевок.

— Я, господа, с уксусом люблю...

— Занятий сегодня не будет, — вдруг, выходя из хаты, сказал нам поручик Кумачев.

— Пойду в Мальц! .. — решил подпоручик Басов.

Но уйти он не успел, так же как не успел лечь поручик Науменко.

С раннего утра весь батальон заставили чистить сапоги.

Штабс-капитан Карнаоппуло бегал и волновался:

— Если, вашу мать, сорвете церемониалку... не в ногу, иль что... всех, вашу мать, засолю нарядами!

Усы его были туго скручены и вытянуты в длину. Синий подбородок гладко выбрит.

В полку ожидался приезд генерала Врангеля.

К полдню весь полк стянулся к Подойкам и выстроился в степи за недостроенной церковью. Безрукий подполковник Матвеев, наш новый батальонный, подравнивал роту при помощи вытянутой веревки.

— И чтоб смотреть молодцами! Чтоб огонь в глазах был! Чтоб грудь колесом стояла! . .

На краю деревни толпились крестьяне. Красные и желтые платки на бабах горели под солнцем ярким огнем. Иногда на солнце наползали облака. Тогда солдаты ставили винтовки как «на молитву» и рукавами гимнастерок вытирали с лица пот.

— Так и при Николае бывало! . . Ждем, ждем, а генерал, мать его. . .

— Молчи ты!—перебил Осов Васюткина, солдата в короткой французской шинели.

— Ждем, ждем. . .

— Молчи, говорю! . . Здесь, брат, за это. . . — и совсем тихо: — шкуру сдерут. . . Вот что! . .

Наконец, далеко в степи показались три автомобиля.

На генерале Врангеле была черная бурка. Когда бурка распахивалась, под ней сверкали ордена. Тощий и высокий, он быстро шел вдоль строя. За ним вприпрыжку бежали представители французского командования, толстые и коротконогие. Пытаясь не отстать от Врангеля, французы спотыкались, взбрасывая коленями полы голубых коротких шинелей.

— Орлы! . . — кричал генерал Врангель. — Орлы-ы! . . Дальше я не мог разобрать, — генерал Врангель был уже далеко.

— Ишь ноги! — сказал Зотов. — Сажени косят!

. . . Потом было произведено показное ротное учение офицерской роты, после чего полк проходил церемониальным маршем.

А через три дня, 23-го мая, вся Дроздовская дивизия, после молебствия и нового церемониального марша, выступила на северо-восток.

Был жаркий полдень. Под Юшунью степи уже казались не золотыми — коричневыми. Над травой клубился мелкий серый песок.

— Привал! — скомандовал, наконец, генерал Туркул.

Мы сидели в тени, под каким-то забором. Некоторые переобувались. Другие побежали за водой.

— Бог даст, расширим плацдарм!.. Выйдем на Украину... — говорил поручик Науменко, выковыривая пальцем песок из ушей. — Там, говорят, восстание...

— В ухе?

Мы засмеялись.

— ... Ну и вот! — рассказывал вполголоса за моей спиной рядовой Зотов. — Ну, и говорит мне, значит, этот самый немец: высокий у вас такой есть, с усами с седыми... каждый день к нам хаживал... Ну и что? — спрашиваю. — Да ничего! Только он у меня как будто бы остаться хотел. Пусть, грит, полк, куда хочет уходит, а я и у тебя, дед, поживу... Ты меня что, припрячешь? Цивильное, грит, дашь?.. На этом и порешили. Так вот что, сынок, говорит, передай ему, значит, — остановились у нас, и тоже из военных. Нет! — говорю. Не знаю я такого, чтоб у тебя остаться хотел... Да и не полагается это...

Я встал и, закуривая, отыскал подпоручика Басова. Он лежал на земле, хмурый и молчаливый.

Палило солнце...

В степи по далеким дорогам шли войска, броне-машины и танки. В небе летали аэропланы.

Вся Крымская армия выступала на Перекоп.

25-е МАЯ.

Во всем Армянском Базаре остались всего только два колодца; остальные были засорены.

— Ужо напьетесь!.. Потом, вашу мать, напьетесь!.. Не подходи! Не велено!

Часовые никого к колодцам не подпускали.

... Ночь была темная. Низкие, полуразрушенные дома Армянского Базара, нагретые за день солнцем, остыть еще не успели. На узких улицах было душно. Мы сидели на земле, прислонясь спиной к выбеленным стенам.

— Говорят, соляные промыслы статья, конечно, не доходная... — недоверчиво басил в темноте кто-то. — И говорят, живут они, потому, не хозяйственно...

— Телицын, дай напиться! — перебил его голос другой.

— Ишь, чорт липкий!.. Про всех ежели...

— Липкий?.. А сам, как махру выпрашивал...

— Эт-то, брат, совсем другой коленкор!.. Да отчаливай!..

...И опять поползло молчание.

Показался желтый краешек луны. Темнота раскололась. Местами стало видно, как над улицей качается желтая пыль.

К колодцу в конце улицы подводили коней. Потом коней оттянули назад.

— А полковника какого-то пропустили, — подошел к нам поручик Науменко. — Полведра, чтоб ему лопнуть, вызудил.

— На то и полковник!..

— Два просвета — два брюха.

— Полковники да лошади — эти в цене значит!..

Поручик Науменко сел рядом со мной. — Спать хочется!.. — Он тер кулаками брови и зевал, наклонив голову к поднятым коленям.

Луна опять уползала за тучи.

— Ста̀-но-вись!

Когда мы подошли к Перекопскому валу, светать еще только начинало. Вдали, — за валом, — раздавалась частая ружейная и пулеметная стрельба. Временами гудела и артиллерия.

— Марковцы и корниловцы пошли в лоб, — подымаясь с нами на вал, разъяснял поручик Кумачев. — С Чонгарского полуострова двинул генерал Писарев со своими кубанцами. А тут еще и Слащев под Мелитополем высадился... Баня!

С вышины вала были видны далекие степи.

— Здесь, господа, и местность прямо для боя создана! — продолжал, разворачивая карту, поручик. — Если армия выйдет на Никополь — Большой Токмак — Бердянск, у нас снова опорная линия имеется. Видите? Второй Перекоп. Правый фланг упрется в Азовское, левый — в Днепр. А ну — сунься!..

Бой на севере все больше разгорался. В ров перед нами опускались солдаты, — очевидно, к колодцам. Со рва подымался холод. На дне ползли туманы. За рвом, далеко в степи, бежала собака. Она ныряла под траву и вновь выскакивала, далеко вперед выбрасывая передние лапы. — Ах ты, быстрая! — засмеялся ротный и, подняв винтовку, приложился и выстрелил. Собака подпрыгнула высоко в воздух и в воздухе же перевернулась.

Я и подпоручик Морозов лежали на выжженной траве вала. Вдруг подпоручик Морозов поднял голову.

— Что у тебя, Зотов?

— Да вот, не разберу!.. Мало грамотен, а говорят, — про вас, господа офицеры.

— А ну, дай-ка!

Вдали, по южную сторону вала, гудел автомобиль. «Не Врангель ли?» — подумал я, оборачиваясь.

Автомобиль приближался. Под грузной стеной вала он казался совсем маленьким.

— Да смотри же!..

Подпоручик Морозов дернул меня за рукав.

— Смотри, Брусиловым подписано!

— Где?

Лист бумаги в руках Морозова долго бился под ветром.

— Где?..

— Да подожди ты!

Наконец удалось схватить его за края.

— «В дни, когда польская армия...» — стал читать подпоручик Морозов.

— Эй, подождите!..

— ...обращаюсь я к вам, русские офицеры, вместе со мною воевавшие и на полях Галиции и...

— Эй, оглохли? — уже возле нас кричал штабс-капитан Карнаоппуло. — Я приказываю!.. — и вырвав из наших рук воззвание, он вдруг круто обернулся и взял под козырек.

— Смирно!..

Автомобиль мчался уже по дороге под насыпью. В автомобиле сидел генерал Кутепов. Одна рука Кутепова лежала на черной квадратной бороде, другую он держал возле козырька корниловской фуражки.

— Вольно!

— Вольно! — И зажав в руке смятое воззвание, штабс-капитан Карнаоппуло пошел вниз по дороге. Длинный шнур нагана спускался до самых его колен.

— Городовой! — сказал подпоручик Морозов, отворачиваясь.

Поднятая автомобилем пыль медленно подымалась на вал. Подпоручик Морозов заслонился ладонью.

— Скажи, Зотов, а где ты эту бумагу нашел, а? . .

— Да не я находил. . . В 8-й мне солдат какой-то дал. Говорит, у себя в вещевом мешке нашел, и мню-о-го! . .

Солнце уже взошло. . . Во рву раздевали первых пленных.

Около полудня мы перешли ров, обошли Перекоп и двинулись на северо-восток.

Навстречу нам уже несли раненых. Стрельба вдали становилась чаще и отчетливей.

— Если б туда. . . на аэроплан, да посмотреть бы! . . — сказал поручик Науменко, подымая голову.

— Подожди минутку, — увидишь!

Но ждать пришлось часа три.

Три часа 1-й и 2-й батальоны нашего полка лежали в степи.

Было жарко.

— Странно. . . И справа и слева море, а ветра нет.

— Тень бы какую! . . — И звякнув густо набитыми подсумками, подпоручик Басов медленно повернулся на живот и уткнулся лицом в траву. Фуражка сползла на его лоб, на седой затылок легла трава.

— Поручик, а сколько вам лет?

— А сколько у вас языков, поручик Науменко? Неужели помолчать не можете?

. . . Аэропланы над нами летели к северу.

— Сюда! Веди сюда!

Какой-то солдат отводил в тыл двух ободранных пленных.

— Эй! Да живо!

Пленных подвели к тачанке генерала Туркула. Наклонив головы и плечи и опустив руки, они стояли неподвижно, и казались низко подвешенными над землей.

— Коммунисты? — спросил генерал Туркул, свесив над колесом тачанки одну ногу. Не подымая головы, пленные что-то ответили Туркул зевнул. — Веди! — Потом развернул на коленях карту и зевнул снова.

— . . . Сюда! Сюда! — минут через пять вновь закричал он.

И опять подвели пленного, уже босого, в рваной ватной кацавейке и без фуражки.

— Коммунист?

— Чорт ма, коммунист! . . Мобилизованный.

Около тачанки собрались солдаты. Туркул вновь что-то спросил. Что, — я не разобрал. Солдаты вкруг тачанки гудели.

— Меня это? — переспросил пленный.

— Ну, а конечно! Не меня же! . .

— Могилиным меня звать.

И вдруг, встряхнув кудрями, пленный чему-то улыбнулся. И точно в ответ на улыбку пленного, Туркул засмеялся тоже.

— Могилин? . . В могилу Могилина! — закричал он, уже захлебываясь хохотом. — Эй, вы там! . .

Пленного повели за тачанку. . .

Подняли нас через полчаса.

— . . . Марковцы, говорят, отходят.

— Чорт дери! . . Словно, как кашу варят. . .

— Слышите? . . Слышите? . .

Мы уже шли через степь. Но вот штабс-капитан Карнаоппуло нагнал роту. Он задыхался.

— Не волнуйтесь, поручик! Все будет исполнено. Патронную двуколку я подтяну ближе. А связь с цепями. . .

Поручик Кумачев даже не обернулся.

Когда 2-й батальон входил в Первоконстантиновку, солнце уже спускалось за края крыш. Крестьян в деревне не было видно. Опять несли раненых. Перевязочный пункт находился возле ворот хаты, около которой остановилась наша рота.

— Сестра! Разрывными? . . Правда? . .

— Сестра, вы были в цепи? . . скажите, — курсанты, наверно? . .

Сестра и фельдшер Дышло молча рвали бинты.

... Уже 7-я и 8-я роты пошли в бой. 5-я и наша лежали на улице. На улицу залетело несколько пуль... Взобравшись на забор, безрукий батальонный смотрел в бинокль.

— Слушайте, — сказал кому-то недалеко от меня лежащий поручик Науменко: — Не кажется ли вам...

И вдруг он уперся о ладони и быстро поднял голову.

Батальонного на заборе уже не было.

— Сестра! Сестра!.. — кричал над канавой связной.

Батальонного положили на подводу. Но подвода не пошла в тыл. Раненый в грудь навылет батальонный остался руководить боем.

— Ше-ста-я!..

Мы вскочили.

Я видел, как подпоручик Морозов нахмурил вдруг запрыгавшие брови, и как, отвернувшись в сторону, перекрестился подпоручик Басов...

За деревней подымались холмы...

Рассыпавшись в цепь, наша рота шла, не стреляя. Красных не было видно, — они лежали за холмами.

Мы вышли на линию наших соседних цепей, — приблизительно на версту от Первоконстантиновки.

— Цепь, стой!

... Несло пылью цветущей травы.

... Я лежал около Зотова и, выдвинув вперед винтовку, наблюдал, как бронзовый ленивый жук взбирался на стебелек качающейся травы. Раскачиваясь, стебелек гнулся...

Справа от меня лежал Горохов. За ним — Телицын.

— Телицын, холодная?

Телицын отнял от рта флягу.

— Да откуда?..

... А жук уже взобрался на самую верхушку стебля, и, выставив усы, о чем-то задумался, не зная, очевидно, что делать ему дальше...

— Телицын, да глоток только!..

— Отстань!.. Вишь, — двинем сейчас...

— Це-е-епь...

Мы встали и пошли, вскинув под руку винтовки.

А далекие фланги цепей уже завязали бой и наступали, низко пригнувшись к земле. . .

— А где капитан Карнаоппуло? — спросил я поручика Кумачева, размеренным шагом идущего вдоль цепи.

Поручик улыбнулся.

— А где ему быть? Доставкой патронов ведает. . . Но клянусь богом. . . — Вдруг он остановился. На мгновение остановился и я. За холмами что-то загудело.

— Комиссар объезжает. Видно, дела у них не совсем. . .

Но кончить поручик не успел. На холмы, сверкая синей броней, быстро вползла цепь броневиков.

— Ура! — крикнул поручик Кумачев и бросился вперед, размахивая в воздухе ручной гранатой.

Но пулеметный огонь снизу, сверху — шрапнель скорострельных пушек Гочкиса, сразу же смяли нашу цепь, зигзагами ее выгнули и отбросили назад. Я тоже бросился назад, потом повернулся и выстрелил в ближайший броневик. Винтовка ударила меня в плечо и повалила. Когда я вновь вскочил, винтовки под ногами у меня не было, — только ствол и вкруг него щепки. Я схватил ствол. . .

Броневик шел возле меня. . .

— Цепь, назад! — где-то впереди кричал поручик Кумачев. — Це-е-епь. . .

Я видел сквозь пыль, бегущую за цепью, как повалился на землю Зотов.

— Зотов! . . — крикнул я, добежав до него. Возле него лежала фуражка, — под самым ухом. В фуражку что-то медленно сползало, красное и круглое. Сползая, делалось все выше, круглей и краснее.

— Це-е-епь! — уже далеко передо мной кричал поручик Кумачев. Возле меня, — все на том же месте, — кто-то волчком кружился. Упал. . . Изо рта Горохова била кровь.

— Це-е-епь. . .

Я вновь бросился назад, — тоже в волны бегущей пыли. Но рота бежала уже за пылью. Когда пыль нагоняла роту, цепь сразу редела и бежала еще быстрей.

Медленно качаясь, передо мной поворачивался броневик.

— Це-е-епь. . .

Потом броневик остался позади. . .

— . . . . Спа. . . спасите! . . Бра-атцы! — кричали раненые, хватая нас за ноги.

. . . Я помню красное солнце. Сквозь пыль оно казалось бурым. . .

— Бра-а-а. . .

А за нами гудели броневики, дробились в сухом треске пулеметы и, как камни в битом стекле, звенели скорострелки Гочкиса. . .

Полк бежал вдоль главной улицы Первоконстантиновки. Поперечные улочки были уже заняты красными. Красные выкатывали пулеметы. На скрещеньи главной улицы с поперечными лежали друг на друга упавшие тела. Тела ворочались и шевелились, как шевелятся, очевидно, холмы, при землетрясении.

— Беги! Беги! — кричали за нами. И мы бросились вперед. . .

Быстро темнело.

. . . И опять взошла луна. Такая же желтая, как в ночь перед тем над Армянским Базаром.

Черной смолой сползал полк с Перекопского вала.

Мы шли назад, — к кострам.

Опустив ствол разбитой винтовки до самой земли, я шел среди солдат и офицеров чужих рот.

На валу стоял генерал Туркул. В глазах у него я видел слезы.

. . . Костры догорали. Когда на них набегал ветер, огонь ложился на траву и шипел, торопливо зарываясь в землю.

Поручик Науменко, я и 12 солдат нашей роты сидели около огня. Другие не вернулись.

Вдали опять шел бой, но уже лениво и как-то нехотя.

— «Тогда считать мы стали раны», — вздохнув, тихо сказал поручик Науменко, — «товарищей считать». . .

Красный свет расползался по его лицу, стекая за ухо, за которым медленно шевелились тоже красные волосы.

— . . . а господин поручик ротный упал. Его уже в деревне подшибло. Видел я. . . — рассказывал Галицкий, единственный уцелевший солдат моего взвода. — Васюткин и Осов к красным перебегли, тоже видел. . . чего не видел, не скажу, господин поручик! . . А поручика Морозова не видел, вот. Никак нет, не пришлось видеть! . .

Подошел штабс-капитан Карнаоппуло.

— Ну, а как патроны, господа, поизрасходовали?

Я встал и пошел в темноту.

— Жаль, жаль поручика Морозова! — побрел за мною поручик Науменко.

Я ускорил шаг.

Но подпоручик Морозов вернулся.

Было это под утро. Он разбудил меня, взяв за плечо.

— Слушай! . .

Я вскочил.

— Слушай, где фельдшер Дышло? . . Ах, чорт, да помоги же! . .

Он выволок из Первоконстантиновки какого-то раненого ефрейтора. — Знаешь, до чорта похожего на моего брата, павшего под Черновицами. . .

Я взял ефрейтора за плечи. Приподнял. Ефрейтор открыл глаза, большие и, кажется, синие, как у ребенка.

— Понесем? . .

— Бери за ноги! . . Так! Ну-ка, ра-аз. . .

. . . А возле потухшего костра бредил поручик Науменко, жалобно повзвизгивая, как щенок на морозе.

На следующее утро, 26 мая, Первоконстантиновка была вновь взята, — 2-м Дроздовским полком. К полдню мы вошли в нее вновь, — убирать убитых. Работали мы до самого вечера. Почти все убитые имели глубокие, штыковые раны. За огородами, в густом ивняке, мы нашли и подпоручика Басова. У него была разбита ступня и штыком проколото горло.

ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ В СЕВЕРНОЙ ТАВРИИ.

Ротой командовал штабс-капитан Карнаоппуло. Но бои после Первоконстантиновки были не серьезные, так что ему не приходилось даже слезать с подвод, на которые вновь, как когда-то при Деникине, был посажен наш пополненный пленными полк.

— Ребята! Ребята! . . — кричал с подводы поручик Скворцов, присланный из офицерской роты на взвод

Басова.— Ребята, руби топором! .. Кого чорта! .. Оставлять, что ли? ..

Зрела вишня. Но подводы шли быстро и, проезжая по деревням и колониям, солдаты только подымали головы и провожали сады глазами.

— А ну, да скорей ты! топоры! .. руби топором! ..

Над подводами 4-го взвода выростал лес молодых вишневых деревьев.

Ворочаясь среди непокорных ветвей, поручик Скворцов ругался.

— Чего с зелеными рубил? .. Что? .. Что глаза выкатил? .. Не было с красными? .. Я тебя научу к «зеленым» тянуться! .. «Зеленые» на Кавказе остались! ..

Как-то его подвода шла сразу же за моей.

— Меня, господин поручик, мужик намедни о земельном законе генерала Врангеля спрашивал, — рассказывал ему рядовой Ершов, красноармеец, взятый за Ново-Алексеевкой. — Как это понять, спрашивал, что купчих 25 лет выдавать не будут?

— Спрашивал? .. Ну, а ты? Ты его спрашивал? А? Все ль по старому, — свобода и равенство и братство? а?

— Никак нет! .. Только насчет генерала Врангеля не знал я, конечно.

— Не знал, конечно? И не надо знать тебе вовсе! Состаришься!

И засмеявшись, поручик Скворцов приподнял над подводой уже смятое, общипанное дерево и швырнул его в канаву.

— А ну, беги лучше! Руби это вот! Видишь? ..

После густого жирного борща хотелось лежать, положив голову на путанную, мягкую траву, и спать, спать, спать... Но подводы уже стягивались к дороге.

— Цинизм, говорите? .. Ну, а что мог я ему ответить? Ну, что? ..

Поручик Скворцов все еще возился над котелком, вытирая дно коркою хлеба.

— Ну, что? .. Вам бы, поручик Науменко, только зацепку найти, чтоб потом три часа сряду галиматью всякую растягивать! .. Так и сказать: два-дца-ть пя-ть лет! .. да? .. Дорогой Ершов, для отдыха это! У красных это, Ершов, передышкой называется... Так, что ли, поручик Науменко?

— Поручик!

— Молчите, поручик! Люди воспитанные не перебивают! Так и сказать: . . . для отдыха, значит, а вам, дуракам, для одиночного обучения. . . деньги сносить. . . кому следует. . . Да? . . В портфели и в банки складывать? . . — в наши, гражданин Ершов! . . — еще подчеркнуть, может-быть? . .

— Вы превратно поняли, поручик Скворцов!

— Кого? Вас? . . Или, может-быть, генерала Врангеля? . . Пошли вы к чорту, поручик Науменко, и не суйтесь с вашими замечаниями! . .

Подводы выстраивались вдоль дороги. Поручик Скворцов встал. Прикрепил котелок к поясу.

— Allons! . .

Над имением Фальцфейна рвалась шрапнель. С правого и левого фланга наших цепей медленной лавой рассыпалась далекая конница. Вдруг конница метнулась вперед и, оторвавшись от флангов, хлынула на имение.

— Бегут! . . Бегут! . . — закричал штабс-капитан Карнаоппуло и, выхватив шашку, уже не пригибаясь, бросился вперед.

Вечером того же дня мы лежали в саду имения. Вечерние лучи, с трудом раздвигая листья, пробивались сквозь чащу редкими рассеченными полосками. В кусты крыжовника и смородины они не попадали вовсе.

— Здесь, поручик Скворцов, всё недели на две позже зреет! — сказал, подходя к нам, поручик Злобин. — Хотя, — видите? — на верхушках зрелые уже есть. И крупные. . . Эх, чорт!

Но добраться до зрелых вишен было трудно. Верхушки деревьев не выдерживали тяжести тела и гнулись, уводя ветви из-под самых рук.

— Сейчас мы это устроим!

Подпоручик Скворцов вскочил с травы и замахал в воздухе фуражкой.

— Сюда! С топорами!

. . . Я вышел из сада, думая найти пруд или речку и смыть с себя многодневную пыль.

— Пойдем-ка лучше в зверинец, — сказал, встретив меня на улице, поручик Науменко. — Там, говорят, зебры есть

и медведи всякие, — бурый, и черный, и белый... Эт-тот чудак Фальцфейн!.. Ах ты, господи, и понабирал же он себе друзей-приятелей!

К улице прилегали длинные коричневые строения, очевидно, склады. Двери были под замком. Лишь одна дверь деревянного сарая в конце улицы была открыта настежь. Под дверью толпились солдаты.

— Заткнули б глотку, шибче бить можно, — кому-то из толпы деловито советовал бородатый унтер-офицер, сверхсрочного типа. — Оно и сбиться можно, в подсчете это, при крике, значит. А раз ему сто — так сто и натягивай, раз двести...

— Незачем затыкать! — возразил другой, тоже унтер-офицер, но помоложе. — Ухо не барабан, не лопнет...

— Другим наука!

Мы уже подходили к толпе, когда, обогнав нас, подбежал какой-то молодой безусый подпоручик. Подбежав, он остановился и стал тяжело дышать. Очевидно, бежал он издалека.

— Комитеты устраивать?!.. Марксов развешивать?!.. — уже пробиваясь сквозь толпу, кричал он. — шомполами его! Да, шомполами!.. Так!.. Так!..

За дверью раздались глухие крики.

— Ну, не хотите, не надо. Пойдем! — Поручик Науменко вновь вышел на дорогу. — В зверинец, значит?.. А хотите, я расскажу вам, как однажды при большевиках в Одессе...

Солдаты толпились и за имением возле высокой частой изгороди.

— Вот и пришли, — сказал поручик Науменко, только-что окончив рассказ о расстрелах в Одессе. — Это и есть знаменитый зверинец. А ну, что тут такое?

Мы подошли к забору.

За забором, по полю, по которому, точно играя в перегонку, скользили легкие перекати-поле, с трех сторон, рассыпавшись в цепи, метались солдаты. Они загоняли в тупики забора испуганную зебру и двух низкорослых рыжих лошадей, — кажется, пони.

— Лови! Лови!

Солдаты возле зебры кричали и свистели. Некоторые, точно приплясывая, топали ногами.

— Лови! Лови-и!

— Тащи седло! Петька, седло тащи! Махом!

— Господин капитан! Забегайте, господин капитан! Слева забегайте!

Но капитан уже схватил зебру за гриву и, гикая, бежал рядом с ней. Цепи за забором перепутались, и густой массой, беспорядочно, точно при атаке, бросились за капитаном.

— Расходись!

Я оглянулся. По дороге к нам подъезжал какой-то офицер в полном походном снаряжении.

— Расходись! .. Приказано всякие безобразия в имении прекратить! — крикнул он, придерживая лошадь. Но вдруг откинулся назад и захохотал тоже, раскатисто и громко.

По полю, быстро обгоняя пони и вырвавшуюся из рук капитана зебру, бежали два страуса. Под хвостами у них болталась подвязанная бумага. Бумага горела.

Я оставил поручика Науменко на заборе и тихо побрел дальше.

Ни ручейка ни пруда под имением я не нашел.

Когда я возвращался в штаб, солдаты около сарая в конце улицы толпились, как и час тому назад.

Из открытых дверей на улицу все еще доносились крики, на этот раз женские.

— Как дерганёт по задам, — рассказывал возле дверей унтер-офицер сверхсрочного типа. — Как дерганет, — аж полосы! ..

— Ей богу не понимаю! — ворчал вечером поручик Скворцов, расстилая шинель под деревом. — Вдруг ни с того, ни с сего: беречь птицу! .. беречь имение! .. беречь деревья! ..

И, помолчав, он повысил голос:

— Капитан!

— Ну?

— Варенья хотите, капитан? .. Знаете, — вишневого? А?.. Сла-адкого! .. На хлеб или в чай. .. Хотите? ..

— Ну?

— Ну! .. Ну! .. Ну, так закройте глаза, отвернитесь и спите. Утром варить будем!

*

Когда я засыпал, деревья над нами тревожно гудели. Изредка в тишину кустов срывался треск веток и ползла глухая, сдержанная матерщина.

...Варенье утром варил сам штаб-капитан Карнаоппуло.

Легкие бои, почти случайные... Колония Пришиб... Розенталь... И опять Пришиб и опять Розенталь...

Когда мы вошли в Розенталь уже в третий раз, в роту вернулся поручик Ауэ.

— Здорово, барбосы! — крикнул он, входя во двор белого домика, в тени которого мы сидели. — Ну как?.. Капитан, рапортуйте!..

Штабс-капитан приподнялся.

— Да не так, вашу мать за ухо!.. Капитан, учитесь! — И вытянувшись, поручик Ауэ поднял к козырьку руку.

— Та́к вот! Слышишь, капитан? «В 6-ой интернациональной происшествий никаких не случилось. Поручик — хохол надел на́ ум чехол. Всем надоел. Чорт бы его заел!»

Мы улыбнулись.

...«Кацап-бородач, подпоручик по недоразумению и герой по духу, проблем гражданской войны еще не решил. Немец-перец-колбаса, как вечный должник матери России, до сего дня еще служит ей верой и правдой. Бравый эллин, он же Карнаоппуло — шашка до́ пола... пьет по ночам комиссарскую кровь и чтоб было слаще, заедает карамелью..

— Поручик! — вскочил с крыльца штабс-капитан Карнаоппуло.

— Не дружен с маткою-правдою? Ну ладно, ладно!.. Отпусти усы, будет!.. А ну, барбосы, не спеть ли нам?..

И вдруг, закинув голову, он запел, неожиданно тихо и мягко:

— «Не осенний мел-кий дож-ди-чек»...

Подошел связной.

А вечером наша рота пошла в заставу.

Полевой караул лежал за холмиком.

Мне было холодно, и я залез под шинель. В стороне беседовали два солдата.

— И-и, боже мой! где там! Да я ведь о хлебной разверстке сказывал!..

Второй голос был глуше. Он тонул в тишине и разобрать его было трудно.

— Да все одно это! .. Что хлеб, что корова...

— А у кадетов, думаешь, как? .. — вклинился в разговор третий голос. — За пуд — две ихних тысячи... А на кой они нужны, эти две тысячи! Ребятам разве? .. Кораблики складывать? .. А насчет повинности слыхал я давеча, будто б у отца-матери не явившихся по мобилизации всё что ни есть забирают. Специально и отряд такой ходит, карательный, что ли...

— Слыхал я про это... Как же! .. Нам о карательных политрук еще разъяснял...

Рука моя отекла, и я повернулся на другой бок. Разговор оборвался.

Часовым стоял Галицкий. Подчаском — Кишечников, красноармеец, взятый в плен вместе с Ершовым

— Здесь, господин поручик, можно сказать, и спокойной минуты нету! — обернулся ко мне Галицкий, когда я пошел проверять посты. — Вот прислушайтесь, — дело какое! .. Не то ползет... — не то ветер...

Я сделал шаг вперед и притаил дыхание.

... Ветер в поле играл кукурузой. Листья кукурузы шуршали.

— Не трусь, Галицкий! .. Никто не ползет...

Галицкий вновь опустился на колени и, подняв винтовку, обнял ее обеими руками.

— Как служил я у красных, господин поручик, говорили, что и мир скоро будет. Как, не слышно теперь? — спросил вдруг подчасок, высовывая голову из-за кукурузы.

— Нет, Кишечников, не слышно что-то!

... Звезды в небе бледнели. Стало еще холодней.

Серебристые, ровные волны бежали по степи. Взбегая на холмики, они, кувырнувшись, срывались вниз и бежали дальше, играя опять то серебром, то зеленою, быстро расползающейся по всему полю тенью.

— И чего не едут! ..

Ротный то и дело подымался и смотрел перед собой.

— Ей-богу, этот поручик Науменко, что твоя рязанская баба! ..

Прошло минут пять. Потом еще пять...

— Идет! — сказал, наконец, ротный, приподнялся и взбросил на ремень винтовку.

— Да еще с прибылью, кажется! . . — воскликнул поручик Скворцов. — Э-ге-ге! . . Двух товарищей ведет. . . А ну-с узнаем про дела совдепские! . .

Но допросить перебежчиков не удалось. Полк уже выступал из имения, и ротный спешил на подводы.

Я сидел на подводе подпоручика Морозова. Поручик Науменко шел возле нас.

— А там — неладно, ей-богу! . . Уж я понимаю! . . Да вы послушайте только. . . — Он говорил быстро. Очевидно, торопился еще и к подпоручику Скворцову. — И ей-богу все потому только, что между прочим это делается. . . Ведь на подводах их допрашивали. Сперва поручик Ауэ одного, потом его же капитан Карнаоппуло, а поручик — другого. И вот здесь-то вся их каша и всплыла. . . Один говорит, — 42 советской дивизии, и давно уже здесь. Другой: с 28-й, говорит вышли, и совсем только недавно. . . Один. . . — Поручик Науменко споткнулся о камень. — Фу, чорт! . . Один. . . Сейчас поручик Скворцов!. . Сейчас я! — Поручик Науменко вновь обернулся к нам: — Ну и вот. . . Один говорит. . .

Минут через 5 он шел уже возле подводы поручика Скворцова.

— . . . говорит. Ну а другой. . . Один. . . а другой. . .

— При-ва-а-ал! . . — поплыло, наконец, от подводы к подводе.

Оба перебежчика сидели на последней подводе ротного обоза. Один из них был широкоплечий, рослый парень с красным, изрытым оспой лицом.

— Стало-быть не мог больше. . . Вот почему! . . Не в моготу стало. . . — рассказывал он собравшимся возле него солдатам. — Сперва это Юденич на Петроград гонял. Потом на Колчака ходили. Теперь на вас, — на барона Врангеля пошли. . . Не ушел бы, — гляди! — и на Польшу погнали б! . .

— Че-реш-ни! . . Господин поручик! . .

— Господин поручик, идите! . . — кричали где-то далеко солдаты 3-го взвода.

Через улицу, с топором в руке, прошел поручик Скворцов.

Второй красноармеец исподлобья посмотрел на него и отвернулся.

И вдруг за деревней раздалась беспорядочная, ружейная стрельба.

Мы уже выходили за деревню.

— Господин поручик, господин капитан Карнаоппуло приказали вам доложить, что они оставили Кишечникова при себе.

— Зачем это?

Стрельба за деревней все учащалась.

— Часовым к перебежчикам, — ответил Галицкий, на ходу занимая свое место во взводе.

. . . Выйдя за деревню, 6-я рота рассыпалась в цепь.

* * *

Было очень жарко. С лица струился пот.

— Давно уж не гнали так! . . Что? . .

— Жаль, говорю, что конница не подоспела. . . Не ушли бы! . .

. . . Маленькие, белые домики какого-то хутора, к которому, уже под вечер, вышли наши цепи, дружной семьей спускались к оврагу. Овраг огибал хутор; за хутором упирался в плоский, осевший во все стороны холм. Над холмом зеленели сады небольшого поместья.

— Квартирьеры на хутор не пойдут, — объявил ротный. — Мы только обождем подводы и сразу же двинемся дальше. Садись и закуривай! . .

. . . Прошла подвода с ранеными. За ней вторая. Шедшая в резерве 8-я рота построилась и с песнями прошла мимо нас на северную окраину хутора, — занимать позицию. Вдоль рва, уже далеко в степи, куда-то шел поручик Скворцов, получивший у ротного разрешение на полчаса отлучиться из роты.

А вокруг и около нас опять уже скользили и кружились легкие кустики перекати-поле. . .

— Пыли-то! . . — сказал поручик Ауэ, указывая вдаль.

Вдали медленно шел наш обоз. Обоз был разбит по-батальонно, и казался издали четырьмя ползущими друг за другом поездами, над которыми клубился низкий, тяжелый дым.

— Пыли-то! . . А? . . — повторил ротный, потом отвернулся, вынул часы и выругался.

— ...твою барбосову мать! Полчаса называется!.. Видно, чай пьет!.. Извольте вот офицерскому слову верить!..

На небо, все еще синее, набежали желтые тучи. Обоз подходил все ближе и ближе.

...Наконец, с каким-то небольшим свертком под мышкой, вернулся и поручик Скворцов.

— Да!

— Не да, а так точно!..

Штабс-капитан Карнаоппуло удивлено посмотрел на ротного.

— Но, поручик...

— Извольте молчать!..

— Но позвольте...

— Молчать!.. — и быстро обернувшись, ротный стал кричать уже на обоз:

— Там!.. Не болтаться!.. Выезжай!.. Выезжай, говорю, ваши в три бога мать!.. Поручик!.. Поручик Науменко... вашу мать, да следите за порядком, мать вашу... По-ру-чик Мо-ро-зов!..

Обоз выровнялся и пошел вдоль дороги, на все лады скрипя несмазанными колесами. Тронулась и моя подвода.

— Но, поручик, ведь перебежчики... — вновь, уже сквозь треск колес, услыхал я растерянный голос штабс-капитана.

— К матери с твоими перебежчиками!.. А Кишечников, а?.. А?.. А?..

Очевидно, желая отделаться шуткой, штабс-капитан Карнаоппуло вдруг прищурил глаза и задергал подбородком:

— Бэ!.. Бэ!.. Бэ!.. — засмеялся он деланно.

На мгновенье ротный опешил. В это самое время моя подвода как раз поровнялась с ними.

— За... за... зар-раза!.. — вдруг дико закричал ротный. — Стой!.. Стой, твою...

Я быстро отвернулся и в тот же момент услыхал короткий, глухой удар. Очевидно, ротный ударил кулаком капитана.

Мой подводчик стегнул лошадей. Лошади рванули.

— Не напирай!.. — кричали с подводы перед нами...

— ...а когда он, не допив молока, выбежал из хаты, того уже и след простыл...

— В гражданской войне всё опять и опять повторяется! . .

— Не велика у ней, знать фантазия! — перебил поручика Науменко подпоручик Морозов. — Ведь это же почти-что прошлогодняя история с этим. . . — как его? — с Ленцем. . . Помнишь? . .

Мы въезжали на холм за оврагом.

Над забором поместья свисали тяжелые ветви черешен.

С подвод 3-го взвода быстро повскакали солдаты.

— Назад! . .

Узнав голос поручика Скворцова, я удивленно обернулся. Балансируя, поручик Скворцов стоял на подводе.

— Назад! — кричал он. — Ершов! Тыкин! Подойко! . . По подводам! По по-д-во-дам! . .

— Неслыханно, господа! И что за добрая муха его укусила! — сказал, не менее меня удивленный, подпоручик Морозов. — А? . . Что за чорт! . . Из Савла да в Павла! . .

Ершов, Тыкин и Подойко, звеня котелками, уже бежали назад к подводам.

— Подождите! Да рассказывай дальше, — снова обратился я к поручику Науменко. — Действительно, происшествие не совсем таки обыденное! . .

— Ну и вот. . .

И лицо поручика Науменко разгорелось от возбуждения.

— Когда наша рота пошла в бой, — рассказывал нам поручик Науменко, — оставшийся при обозе штабс-капитан Карнаоппуло отправился в халупу пить молоко. Пользуясь простодушием Кишечникова и его незнанием службы, один из перебежчиков, тот, что глядел исподлобья, попросил у него разрешения оправиться, ушел за хату и больше не вернулся. Оставив второго перебежчика, Кишечников побежал искать его по всем хатам; попал также и в ту, в которой за крынкою молока сидел штабс-капитан Карнаоппуло. Штабс-капитан поднял на ноги всех нестроевых и даже подводчиков, но было уже поздно. Сбежавшего красноармейца не нашли. Тогда рассвирепевший штабс-капитан тут же, возле подводы, растрелял и Кишечникова и второго красноармейца, — скуластого парня с красным лицом, — обвиняя их обоих в содействии побегу.

— Да, да! . . — повторял поручик Науменко. — Попадись под горячую руку. . . капитану или ротному. . . Зве-ери! . . А ведь сбежавший был шпионом, — вы знаете это?

. . . Мы уже спускались с холма. . . Поручик Науменко все еще сидел у нас на подводе. Понемногу возбуждение его прошло, и на лицо вновь набежала знакомая нам улыбка.

— Эй, поручик Скворцов! Откуда такое богатство? . . — закричал он вдруг, приподнявшись.

Несколькими подводами за нами голый до пояса поручик Скворцов расправлял над головою новую, белую рубашку.

— А что? . . Завидно? . . — крикнул тот, уже продев сквозь рубаху голову.

— Да нет! . . Но откуда? . .

— Да оттуда!

Поручик Скворцов указал рукой на поместье, уже едва-едва чернеющее вдали.

— Подарили? . .

— Еще что! . . Кто теперь дарит! . . Родичи там у меня есть, — из недорезанных. . . Тетка. . .

Кружилась пыль. Подводы наезжали на подводы. Холмы за нами опускались в полутьму.

ПОХОДНАЯ ЖИЗНЬ.

Красные наступали. . .

Три дня подряд, каждую ночь, шла в бой наша рота.

Мы защищали большую, богатую колонию, Гальбштадт или Куркулак, — не помню. . . Помню одно: на каштановых деревьях ее главной улицы болтались три трупа. Помню еще и лицо одного повешенного. Оно было вздуто, особенно щеки, которые выступали вперед и хоронили провалившийся вглубь нос. На длинной веревке под бородой повешенного болталась дощечка: «дезертир». Дощечка раскачивалась под ветром и, легонько ударяя о колени повешенного, вновь отскакивала далеко вперед.

— Вот! . . А вы говорите, своих не вешаем! . . — сказал как-то штабс-капитан Карнаоппуло. — Как не вешаем! И по три сразу. . .

— Да разве свои это? Ведь это те же красноармейцы! Вот, если б офицера на вешалку вздернули.

— Еще что! . . А Ивановского позабыли? . . Мало? —

И штабс-капитан отошел от ротного и нахмурился. В последнее время штабс-капитан хмурился очень часто.

И всегда только в присутствии ротного. И всегда, — отворачиваясь.

А около штаба полка дни напролет толпились солдаты и офицеры.

Около штаба расстреливали пленных латышей.

— Ты полковника Петерса видел? — на третий день боев и расстрелов спросил меня поручик Науменко. — Не правда ли, как битый ходит?.. Видел?

— Видел.

— А знаешь, почему?.. Своих, — латышей этих, — жалеет. Сам ведь латыш! Говорят, места не находит. А по ночам, говорят, сидит в темной халупе, сжимает голову руками и рычит, как раненый зверь.

На 4-й день красные нас выбили. На 5-й мы выбили красных.

Когда мы вновь входили в колонию, на трех каштанах главной улицы болтались три наших офицера, взятые красными в плен за день перед этим.

В бою на пятый день 7-я рота потеряла убитыми и ранеными около половины штыков. 8-я — треть. 5-я и наша всего несколько.

— Как странно бьет артиллерия красных!.. На одном участке сметает решительно все; на другом, тут же рядом, только и дает перелеты и недолеты.

— А это, смотря кто стоит на орудии. Если старый барбос, — офицер еще с германской...

Поручик Скворцов удивленно посмотрел на ротного.

— Неужели вы думаете, что старые офицеры так же старательно, как когда-то по немцам, бьют теперь и по нашим цепям?

— Привычка!.. — коротко ответил ротный, задумавшись.

Мы сидели на траве, составив винтовки и сбросив с плеч тяжелые, уже вновь пополненные патронташи.

— Хоть бы дня три отдыха дали! Устали до чорта!.. — жаловался поручик Науменко. — Ноги едва носят. Засыпаешь прямо в цепи...

— Дубье!.. Ослы!.. Дерево!.. Рав-няйсь! — кричал молодой штабс-капитан в щегольском френче, бегая возле сбившихся в кучу пленных.

— Равняйсь!..

Пленные, мобилизованные крестьянские парни, испуганно толпились на одном месте, очевидно не понимая, что от них требуют.

Наконец, их разбили. На латышей и на русских. К немногим латышам причислили почему-то и всех рыжих и белоголовых парней. В свою очередь из числа русских уже выделяли офицеров старой службы, — для пополнения нашей офицерской роты. Отведенные в сторону, офицеры слюнили химические карандаши, и друг другу на гимнастерках выводили погоны и звездочки.

. . . Где-то, очень далеко, вновь заухало орудие. Со штыков составленных винтовок сползли лучи солнца. На небо с двух сторон ложились тучи.

— Да ей богу ж! . . — Галицкий перекрестился. — Ей богу ж, так и заявил! . . Хошь бей, заявил, хошь! . .

Поручик Науменко, Скворцов, штабс-капитан Карнаоппуло и некоторые офицеры других рот встали и пошли через поле. Встали и солдаты. Кольцо вокруг пленных быстро росло.

— И не пойду! . . Расстреляйте! . . Не пойду я! . . — кричал в кольце широкоплечий офицер-пленный. — Эй, вы, наемники заграничные! . . Свалка всероссийская! . . А правды ль не хотите? . . Капитан — думаете? . . Думаете — и побегу сразу? . . К вам? . . В гнездо ваше черносо. . . — Над головой его серой сталью блеснула шашка. Потом еще и еще. . . Кольцо быстро расступилось, вновь хлынуло вперед и сомкнулось уже над изрубленным офицером.

. . . Мы шли назад в колонию. Падал дождь. . . На каштановых деревьях главной улицы болтались неснятые веревки. С них бежала вода. . .

В этот вечер красные не наступали.

За окном было темно. Шумел дождь На лавке под окном лежал поручик Науменко. Кажется, спал.

— . . . Ерунда какая! . . а если и застрелится, чорт с ним! . . Негодяя не жалко! . . Да только не застрелится он, — вполголоса говорил мне подпоручик Морозов. — Не из таких, брат, Скворцов этот! Хитрая бестия. . . У него ведь заряжены только те гнезда, — (по счету три) — которые сверху прикрыты ржавчиной. Шулер своего дела. Ну да, конечно! . .

Ну, конечно, артист! .. Если барабан у него останавливается ржавым гнездом на очередь, он вновь его крутит... Вся и лавочка! .. А дураки в восторге: и смелость! и храбрость! и удаль! и фатализм! и тип Лермонтова! И еще ерунда всякая! .. Господи, — и как не надоело! ..

Проснулся поручик Науменко. Приподнялся на лавке, и, потирая глаза, долго во все стороны дергал локтями.

В окно с новой силой ударил дождь.

— Господа, приготовьтесь — вошел поручик Ауэ. — Сейчас выступаем... А капитан... помните?.. этот, которого зарубили? .. — сказал он, уже взявшись за дверь. — Вот к нам бы... В роту бы такого! .. А? ..

Через час мы выступили.

Над степью все еще шумел дождь. Я лежал под шинелью. С шинели стекала вода. Потом вода стала просачиваться, и я зарылся глубоко в солому. Под самым моим ухом тяжело ворочались колеса. Они тянули жидкую грязь вверх за собою и вновь бросали ее в звонко хлюпающие лужи. Прошел час... Второй... Может-быть, третий и четвертый. Дождь перестал лить, и я высунул голову из-под шинели.

Край неба уже золотился. Светало... Нам навстречу бежала дорога. Вдоль дороги бежали низкие кусты, после дождя тяжелые и приглаженные.

— Скоро?

— А бог его! .. — ответил Галицкий и зевнул во весь рот.

Мы двигались по направлению к Мелитополю, на помощь донцам, заманившим в мешок конную армию Жлобы.

* * *

По равнине, усеянной редким холмиком, металась красная конница. Донцы гнали ее с трех сторон, — прямо на наши цепи.

Палило солнце. Трава давно уже высохла. За разбитыми лавами красных гонялись легкие столбики пыли. Это наши пулеметы искали правильный прицел.

— Снижай! Двадцать два! .. Снижай еще! Двадцать! .. Во-сем-над-цать! — доносились до нас торопливые команды.

2-й батальон стоял в резерве. Красным было не до обстрела, и наши резервные роты взобрались на ближайшие

холмики, с которых была видна вся широкая картина идущего боя.

На круглой вершине второго за нами холма торчала высокая мечта. На ней была установлена антенна беспроволочного телеграфа.

— Ну, как?

— Сейчас! .. Подождите! — суетился перед мачтою молодой офицер с серебряными погонами.

— Ну, как? ..

— Ге-не-рал Абрамов двинул 4-й полк! — кричал он уже через минуту. — Ге-не-рал Аб-рамов рас-сы-па-ет. . .

— . . . Офицер не должен бояться смерти. Прежде всего это оскорбительно!

Четыре залпа, подряд данные офицерской ротой, на минуту заставили поручика Скворцова замолчать.

— Понимаете, господа? — снова начал он, когда глухое эхо залпов докатилось до убегающих к небу далей. — Понимаете? .. Кроме всего этого, смерть не щадит только трусливых. . . Господа! По-моему, творческая изобретательность смерти должна вызвать, в свою очередь, и в душе каждого офицера пробуждение его волевых начал. . . Как бы сказать вам? .. — ну, желанье, что ли, не бороться с ней, а играть, как с равной. Потом. . . Эй, Ершов! .. — вдруг закричал он обернувшись. — Ершов, что тащишь? .. Яйца? .. Э-ге-ге! ..

Ершов, час тому назад посланный поручиком Скворцовым в соседнюю колонию Фриденсруэ, поставил на землю крынку молока и рядом с ней положил завязанные в узелок яйца.

— Уже сварены? .. А ну, придвинь-ка! .. В крутую? .. В смятку, я тебе говорил! .. Не говорил? .. Дурень! .. Пшел прочь, идиот! ..

Солнце опустилось ниже, стало круглым и перестало слепить. Наши цепи оттянулись. По ложбине вели пленных.

— Вы когда-нибудь да и доиграетесь! ..

Штабс-капитан Карнаоппуло волновался.

— Слушайте, ведь это же. . . Слушайте, — и после каждого боя! .. Зачем? .. Мало вам, что в бою не угробили? И что за идиотское испытание судьбы! .. Простите, поручик. . . Поручик, оставьте, — ведь это же средневековые! ..

Поручик Скворцов разгладил тонкие усики.

— После боя пикантней. . . Понимаете, — двойная проверка. . . А ну-ка еще раз. . . Смотрите, — бог любит троицу! . .

И опять повернув ладонью барабан нагана, он приложил его к виску.

— Поручик!

Но выстрела не последовало, — только сухой, короткий треск. . .

Уже подходили подводы.

— Песню! . . — скомандовал ротный, когда подводы повернули на колонию Вальдгейм.

— Она, чорт дери, красива как бес!

— Поручик Науменко увлекается! . . Господа, поздравим поручика Науменко с увлечением! . . Могарыч, поручик Науменко! . . Могарыч! . .

Поручик Науменко стоял около печи и задорно улыбался. Из-за печи поднялась черная голова штабс-капитана Карнаоппуло.

— Но позвольте, господа, а вдруг она коммунистка?

— Коммунистка? . . Какая там к чорту коммунистка! . . Самая обыкновенная б . . .!

И ротный сплюнул.

Мы стояли в колонии Фриденсруэ уже второй день. И уже второй день спорили офицеры: отпустить «ее» с миром, отправить в штаб Туркулу, или забрать с собою, — «ведь хороша, стерва! . . А?»

А «она», Ада Борисовна, — та, вокруг и около которой кружились наши вечные споры, не выходила за двери веселого, желтого домика колонистки Шмитке, в котором поручик Ауэ наткнулся на нее в первый раз.

— . . . Я сказала вам правду. . . Можете считать меня и коммунисткой или даже шпионкой, и, конечно, можете меня расстрелять. . . — говорила она собравшимся у ней офицерам, когда, заинтересованный, забежал к ней как-то вечером и я. — Я ни о чем вас просить не буду. . . О жизни? . . Менее всего! . . Я так устала! . . — Пустив под потолок тонкое колечко голубого ленивого дыма, она прищурила черные глаза с черными же, точно надклеенными ресницами

и, не опуская головы, повторила тем же спокойным и певучим голосом: — Так устала от вашей ве-ечной войны! .. — К потолку поднялось новое колечко, нагнало уже расползающееся и поплыло рядом. — Я хотела пробраться в Феодосию или Севастополь... Вот и всё! .. И уехать оттуда... вот и всё! .. В Будапешт... Будапешт — моя вторая родина, господа... От России я отвыкла...

Кто-то засмеялся.

— Отвыкли?

— Не нравится, значит?

— А на сыпняк не хотите? ..

— А на позиции? .. Сестрою? ..

— Господа, или вы, или я! — она вздохнула и на минуту замолчала, осторожно кладя догорающую папиросу на подоконник. — Ну вот... — улыбнулась. — Теперь вы присмирели, и я могу продолжать... хотите? .. Моя биография? Ну вот... В Будапеште я танцовала у столиков наших веселых кабарэ... Да, все это было! .. — Она опять улыбнулась, уже совсем по-другому, — одними глазами, вдруг сразу потерявшими блеск, и продолжала уже совсем тихо и еще более нараспев: — Кафэ «Кристаль»... Огни... Я и ты... А потом... Потом... — голос ее задрожал, — в Москву... в вашу страшную Москву! .. — Вдруг она подняла брови. — Простите, господа, я, кажется, забылась? .. — и сохраняя обиженное лицо, опять выровняла голос: — Да! .. в Москву, значит... В вашу страшную Москву! .. В Москве его расстреляли... Того, кого я любила и кто зачем-то снова увез меня в Россию... Можете, впрочем, здесь расстрелять меня!

И вздохнув, она отвернулась к окну и положила на подоконник руки. Короткие рукава еще более оттянулись назад и почти до плеч обнажили ее руки.

Офицеры молчали, жадно поглядывая то на ее руки, то друг на друга, — нетерпеливо и враждебно. Каждый хотел, чтоб вышли другие, но никто из хаты не выходил.

— Никто вас расстреливать не будет, — сказал, наконец, поручик Ауэ. — Завтра мы выступаем. Езжайте в ваш Будапешт, пляшите и собрайте новых любовников. Счастливо! ..

— Слава богу, что завтра выступаем, — сказал он мне уже на улице. — Эта трагическая курва. Да еще на бабьем

безрыбьи! Кобелями забегали! А?.. В бой, так в бой, в публичный дом, так в дом публичный! Но не вместе же мешать, барбосы!..

* * *

Ночь была безлунная. По темным улицам колонии бродили одинокие солдаты. Около ворот какого-то дома два колониста раскуривали трубки. Они стояли почти вплотную и почти упираясь друг в друга лбами. Спички в руках у них задувало, и колонисты ругались.

— Ей-богу!.. Не веришь?.. Так и сказала, — продолжал рассказывать поручик Науменко, помахивая на ходу тонким прутиком ивы. — «Вы словно большой дворовый щенок, — сказала она. — У вас большие, мохнатые лапы. Когда вы ходите, лапы у вас разъезжаются»... Ей-богу! — Поручик Науменко засмеялся. «И неуклюжи вы, — сказала она. И гадите на ковер. И грызете ножки дивана. И лаете на всех, так, зря, по молодости...»

— Это верно, пожалуй!

— Подожди!.. «Но таким, как вы сейчас, — сказала она, — таким вот я и люблю вас». И она целовала меня в лоб, потом в щеку, потом в губы... — Поручик Науменко бросил хлыст в канаву. — ...потом в губы!.. Господи, как она целовала!..

Мы уже подходили к желтому домику вдовы Шмитке.

— Если б ты знал, как она целовала!.. — еще раз повторил поручик Науменко и быстрыми шагами направился к воротам.

Минут через 10 он нагнал меня снова.

— Слушай!.. Ты не видел его? — быстро спросил он, подбегая.

Кого?

...За-сви-ста-а-ли каза-казаченьки
В по-ход с полу-но-о-о-чи! —

пели где-то вдали солдаты. —

За-пла-ка-ла моя Ма-ру-сень-кааа...

— ...Вышли они вместе. Я видел! — Поручик Науменко от волнения заикался. — Потом она вернулась и заперла за собой дверь... Она не пустила меня... Она сказала: «сплю, поручик»... Но ведь это неправда! Скворцов обещал ей

вернуться... Я слыхал... Послушай, он прошел здесь?.. Да? Здесь вот? Прямо?..

Песок под его ногами хрустел не долго. Очевидно, поручик Науменко побежал.

На следующее утро нас рано подняли.

Рота уже стояла возле подвод.

— Где ж он остался, мать его в закон! — кричал ротный. — Немедленно найти! Обыскать все хаты! Барбосы! Баб не видели!..

Возле ротного стоял поручик Скворцов.

— А кто разберет!.. Я ж рассказывал вам, поручик. Как еще ночью отшил я его, он—через забор и в поле куда-то...

— Никак нет, и у дамочки нету, — подошел Галицкий. — И не было, говорит.

— Несут, несут! — раздались в это время голоса за нами.

Мы обернулись.

Поручика Науменко несли за ноги и за руки. Ротный быстро пошел ему навстречу. Потом остановился.

— Барбос!

— Напился... — сказал поручик Скворцов, уже взваливая поручика Науменко на подводу. — Так-с, так-с!.. Для храбрости, значит! Проучить меня думал! Иль с горя? Ах, ты мальчишка! Щ-ще-нок!..

И опять загремели колеса.

Бой мы приняли только на третий день, под селом Орлянкой, рано утром, после ночи, проведенной в степи под телегами.

— Это не бой!.. И не победа это!.. Это полпобеды!.. — сказал ротный, закуривая, когда мы, не доходя до Орлянки, расположились на лужайке возле ее огородов. — Ни одного пленного! Какая же это, к чорту, победа!

В селе было тихо. В конце улицы, выбегающей к нам на лужайку, скрипел журавель колодца. Около колодца суетились сестры. Раненых проносили мимо нас.

— Легонько!.. Ле-го-о-онько! — тихо просил с носилок молодой безусый солдат, с черным лицом и желтыми, как солома, бровями. — Замляк... Милый... Ле-го-о-нь-ко!..

И вдруг за спиной у нас раздался выстрел.

* * *

— Сюда! Сюда!.. Дышло!..

— Сюда! Санитары!..

Подпоручик Скворцов лежал на земле, около бугра, густо заросшего таволгой. Наган из рук его выпал. Пальцы были разжаты. Фуражка скатилась. С виска, расползаясь по щекам, медленно капала кровь.

— Отойди! — кричал ротный на сбегающихся со всех сторон солдат. — Отойди! Чего не видели?

— Отойди! — у него под боком кричал штабс-капитан Карнаоппуло. — Чего не видели?

Подошел фельдшер. Нагнулся. — Конец! — и отошел к бугру, чтоб вытереть о таволгу руки. — Медицина здесь запоздала. Разрешите унесть?

— Несите!

— Неси!

— Тижолый! — Санитар Трифонов, здоровый солдат, с длинными до колен руками, взвалил поручика Скворцова на спину. — Тижолый!.. Мертвый он всегда тижалей! А куда нести-то?

— К штабу неси!

— Раз, два, три... четыре. Четыре пули, поручик! — Одна у него оказалась лишней... — сказал мне подпоручик Морозов, бросил наган на землю и приподнялся, ища кого-то глазами.

А за селом, для всех неожиданно, вновь торопливо заработал пулемет. Мы бросились к винтовкам.

Все, что происходило после, можно было считать секундами.

Мы сбежали с холмов за Орлянкой.

— Да подравняйте!.. Да под-равняй-те це-пи!

Зазвенела шрапнель.

— Да подравняйте!.. Да под-равняй-те це-пи!

Звенела шрапнель.

— Интер-валы! — опять закричал ротный. — Держите интер-ва-лы!..

В садах, за нами, шрапнель косила сучья деревьев.

— Сбеги ниже! — крикнул я, и вдруг, бросив винтовку, сжал рот ладонью и, спотыкаясь, быстро побежал вдоль цепи.

Сквозь пальцы мои била кровь. Боль по лицу бежала кверху и уже, казалось, звенела в ушах.

— Ложись! ложись!

*

— Ин-тер-ва-лы!

— Куда! Да ложись! Выведут!

Я повалился на землю. Помню, — в траве, под самым моим лицом пробежала ящерка.

В полдень, когда я вышел из сельской школы, где помещался наш перевязочный пункт, под оградой церкви густо стояли носилки.

— Три недели и вновь в строй! — думал я, вспоминая слова сестры. — Вот тебе и отдых! . .

Раненые стонали. Какой-то унтер-офицер, вытянув руки вверх, ухватился за ветви акации, перегнувшейся к нему через ограду и, очевидно, в бреду, раскачивал их со всей силой. Кто-то рядом с ним лежал совсем неподвижно. Я подошел и вдруг быстро наклонился.

. . . Глаза поручка Ауэ были открыты. Он в упор смотрел на меня, но, кажется, не узнавал. Ни гимнастерки, ни рубахи на нем не было. Волосатая грудь часто и высоко подымалась. Живот был забинтован. На широкий бинт падали все новые листья.

— Последний из могикан офицерской касты! Выживет ли? . . А жаль!

Я обернулся. За мной стоял поручик Злобин, тоже легко раненый.

— Тяни, тяни, — вытянешь! — кричал унтер-офицер, раскачивая над нами акацию.

А вдоль ограды выстраивались носилки. . .

Недели через три-четыре, проведенные мною при хозяйственной части (у меня всего-навсего была пробита осколком губа и в тыл меня не отправили), я вновь возвращался в роту.

Полк стоял в Верхнем Токмаке.

— Господин поручик! — окликнул меня на улице Галицкий. — Возвращаетесь?

. . . Пустыми гильзами из-под патрон на улице играли ребятишки. Бродила одинокая свинья, тонконогая и худая.

— Да ничего, господин поручик! Перемен как будто и не было никаких. Господин капитан опять роту приняли.

— Слушай, а как поручик Морозов? — перебил я Галицкого.

— А господин поручик Морозов уже в офицерской роте. Так точно, господин поручик, господин капитан его отправили. . . А вот по какой причине, господин поручик. Из-за пленных все это вышло. Господин капитан всех пленных расстреливали. . . И коммунистов, и мобилизованных, и всех, господин поручик. Тогда господин поручик Морозов своих, значит, пленных, — они также в тот день четырех под оврагом подобрали, — господину ротному командиру 7-й роты передали. А потом что было, неизвестно нам, а только господин поручик Морозов ушли. . .

Мы уже подходили к халупе штабс-капитана Карнаоппуло.

— Ну, — думал я, — не веселая начнется служба! . .

На усах штабс-капитана болталась лапша. Молочный суп капал на китель.

— Идите в офицерскую роту!

Штабс-капитан поднял над тарелкой усы и деревянною ложкою подобрал с них лапшу.

— На 2-м взводе стоит поручик Ветошников, и я нахожу, что частая смена командного состава неблагоприятно влияет на боеспособность роты.

Я повернулся и, вскинув винтовку на ремень, быстро вышел из хаты.

— . . . Ну и чорт с ними! — вечером, уже в офицерской роте, говорил мне подпоручик Морозов. — В конце концов не всё ли равно, где подыхать придется?! — Он замолчал. Молчал и я.

— Чего молчишь? — вдруг спросил он. — Неужели обижен? Да чорт с ними! . . Поручик Басов и Ауэ были в роте последними. Остались мерзавцы, — ну и чорт с ними! . . Кстати, теперь, когда убиты и Скворцов и Науменко . . . Не его ль это рук дело? . . Эта четвертая пуля? . . Помнишь? . . Впрочем, и так уж уголовщины много! Новую еще раскапывать! . . Идем!

Мы встали и пошли вдоль низких заборов, над которыми мирно дремали запыленные кусты.

— . . . А Аду Борисовну я видел еще раз. Это было в Александровске. Она промчалась на автомобиле, окруженная штабными офицерами кубанцами.

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ-ВАСИЛЬЕВКА.

За колонией Гейдельберг шел бой. Далеко по полю ползали цепи наших солдатских рот. Бой затягивался. К полдню подошла, очевидно, и артиллерия красных, — над стрелковыми цепями поднялась черная пыль. Ветер гнал эту пыль назад на колонию, а нам казалось, — пыль только отрывается от земли и неподвижно висит над нею, а сквозь нее, — вперед на красных, — бегут низкие кусты, тоже, как казалось нам, оторвавшиеся от сбегающих к полю садов колонии.

Офицерская рота, которую генерал Туркул берег и бросал в бой только в крайних случаях, стояла повзводно во дворах.

Взводный 1-го взвода, поручик Пестряков, лежал в тени под забором и курил махорку. Перед ним, на ведре опрокинутом дном кверху, сидел поручик Ягал-Богдановский, высокий, стройный офицер, в белой, всегда чистой гимнастерке, перехваченной серебряным кубанским пояском.

— Ясное дело, десант Улагая провалился! — лениво доказывал поручик Пестряков, в поисках тени неуклюже ворочая свое, почти четырехугольное тело. — Но неужели скажите, ни генерал Бабиев, ни Казанович, ни Шифнер-Маркевич, ни сам, чорт его дери, Улагай, не учли обстановки?.. Зарваться чуть ли не до Екатеринодара, и дать красным сгруппироваться у себя же в Тимошевском районе! Ведь это юнкеру подстать, а не генералам!.. — И выставив локти вперед, он, точно тюлень, пополз вдоль забора. Найдя не тронутый солнцем уголок, вновь грузно опустился на бок. Зевнул.

Его сходство с тюленем подчеркивали еще и усы, рыжие и длинные, свисающие через рот к подбородку.

— Нет, поручик, Кубань нашей не будет!.. — продолжал он. — Не будет нашим и Дон!.. Казачий период войны окончен!.. Теперь у нас осталась одна надежда, — на Украину, Махно и Володина...

— Простите, поручик, но я не понимаю вас!..

Поручик Ягал-Богдановский продвинул ведро к забору и вставил в тонкий, яхонтовый мундштучок новую папиросу.

— По-моему, чем дальше бы генерал Врангель держался от этой своры, простите за выражение, тем лучше было бы

для нашего дела. Партизанщина! — подумаешь, какая помощь!.. Помочь нам может теперь одна только Польша. Если польская армия двинется на Киев...—а она непременно двинется!.. — Ведь не для того же признала нас Франция, чтоб оставаться и в дальнейшем при своем сочувственном нейтралитете!.. По всем данным, — на это намекал и Мильеран, — Франция возьмет в свои руки единое командование, и тогда обе армии, и наша и польская...

Я отвернулся и пошел в сторону.

В другом конце двора на свеже-выструганных балках сидели поручики Кечупрак, Аксаев, подпоручик Тяглов и мичман Дегтярев, за что-то дисциплинарным порядком высланный к нам из флота. Они вполголоса беседовали. Встороне от них стоял подпоручик Горбик, совсем еще молодой, синеглазый офицер с русыми кудрями, непокорно выбивающимися из-под фуражки. Подпоручик Горбик чистил винтовку. Щеки его были по-детски вздуты; он сопел, старательно водя по каналу ствола шомполом—то вверх, то опять вниз... На крыльце, растопырив ноги в драных сапогах, сидел подпоручик Морозов. Как когда-то вольноопределяющийся Ладин, подпоручик Морозов почти перестал разговаривать. Борода его разрослась в стороны и, цепляясь за плечи, ровным полукругом лежала на груди.

— ...а рыбы-то, рыбы! — доносились до меня отдельные слова поручика Аксаева. — Как опустишь в глубину невода эти... Честное мое слово!.. Эх, господа!.. Э-эх мои милые!.. Хороша наша Белая!.. Э-эх и река-же!..

Бой за колонией продолжался. Но артиллерия красных, все время бившая по стрелковым цепям, вдруг перебросила огонь на резервы, и стала бить по колонии.

По улице понеслась пыль. Громыхая, промчалась пустая телега.

— Сюда!.. Четвертая!..

Вдоль заборов бежал поручик Барабаш. За ним, звеня котелками и винтовками, — его рота.

— Ага, накрыл татарчонка! — крикнул смеясь поручик Пестряков, неохотно подымаясь из-под забора. — Свиное ухо, штаны в заплатах, стрекача дал?..

Через минуту черные взлеты земли кружились уже вдоль пустой улицы.

Мы также отошли за дом. Стояли молча, слушая, как по улице мечется грохот огня.

— Отыщет! .

— Кого? . . Тебя? . .

Грохот бежал все ближе и ближе.

— Неугомонные какие! . . Что? . .

— Озверели, говорю. . .

— Это, господа, красным бешенством называется. Это. . .

И вдруг грохот рухнул к нам через крышу и, расколовшись раскатился во дворе.

. . . Когда мы вновь приподняли головы, из-за угла дома еще падали последние комья земли.

— Здорово! — сказал поручик Иванов 2-й, выглядывая из-за угла. — А эти-то, — что угорелые! . . — Глядите, в хлев угодило! . .

По двору, — все вкруговую, — бегали две свиньи. За одной, то рассыпаясь во все стороны, то вновь сбиваясь в кучу, катились маленькие розовые поросята.

— Lisalotte! . . Lis'lott', zurück! . . — раздался испуганный женский голос, кажется с крыльца дома. — Lis'lott'! . . — Но над нами вновь загудело. И опять мы упали на землю, и опять из-за угла посыпались комья земли.

Потом все стихло. . .

— Да шевелитесь! . .

Подпоручик Морозов стоял уже посреди двора. Держал на руках девочку. Штаны его были в крови. Красные, широкие пятна все ниже ползли по грязному сукну и медленно опускались за голенища.

— Санитара! . . Да зовите санитара. . . Фельдшер! . . — хрипло кричал подпоручик Морозов.

А со ступенек крыльца, в первый момент нами вовсе не замеченная, подымалась выбежавшая за девочкой колонистка. Встав на колени, она подняла на подпоручика Морозова бессмысленные, круглые глаза, потом вскочила, качаясь, подбежала к нему и вдруг, точно сразу же потеряв все нужные слова, нераздельно, по-звериному закричала.

. . . Наконец, подбежали санитары.

У девочки были оторваны обе ступни.

* * *

Звенели винтовки. Толкая друг друга, мы понуро шли к воротам. Около ворот лежала убитая свинья. Под живот ее тыкались розовые, веселые поросята.

— Равняйсь!

Когда мы пошли вдоль улицы, черная пыль неслась уже далеко за огородами.

— Еду, еду, — следа нету; режу, режу, — крови нету! . .— Поручик Ягал-Богдановский засмеялся.

— Хороша загадка, а? . . Лодка, думаете? . . Никак нет, — 1-й Дроздовский полк. . . Ишь как пятки намазали! . . И отдохнуть не дают. Задержались бы где! . .

Но от Гейдельберга до Васильевки отдыха не было. Не было и крупных боев. Отступив от Гейдельберга, красные защищались вяло, все глубже оттягиваясь к северу.

Васильевка встретила нас толпами баб.

— Эй, вы там! . . А мужики где? . . — не слезая с подводы, крикнул командир офицерской роты, полковник Лапков.

— Угнали, родимый! . . Всех что ни есть угнали! . . Большевики, родимые, угнали, а куда — и не знаем вовсе! . .

— Знаем эти песни! а камыши не пощупать ли? Пулеметом? А? . . то-то! Ну, марш по хатам! И чтоб борщом кормили! Поняли, бабы?

Прошло два дня.

. . . За Васильевкой опускалось солнце. Я сидел на камне возле дороги к горбатому мостику и смотрел, как над крышами хат кружатся голуби. Крылья голубей казались золотыми. Золотыми казались и верхушки тополей, в листву которых черными пятнами прятались скворешники. Под мостом в маленькой быстрой речушке, заросшей пыльной крапивой, поручики Кечупрак и Аксаев стирали белье.

— А может-быть вы, поручик, знаете, куда это ночью сегодня дежурный взвод ходил? — спросил меня поручик Кечупрак, выжимая воду из рыжей недостиранной рубахи.

— Третий? Нет, не знаю. . . А что, ходил разве?

— То-то оно и есть, что ходил. . .

Поручик Кечупрак выжал из рубахи последнюю воду и поднялся ко мне на дорожку.

— И, знаете, — вот это и кажется мне странным, — ведь увели его, знаете, тайком. И никто из них ни слова не говорит. . . В заставу, говорят, ходили, а какая там, к чорту, застава, когда я великолепно знаю, что в заставу ходил поручик Барабаш со своей четвертой. . . Ну как, Аксаев, готово?

Поручик Аксаев стоял на коленях перед речкой и, засучив рукава гимнастерки, пытался поймать какую-то забежавшую на отмель рыбешку.

— Господа, темнеет, — сказал я. — Идемте!

Когда мы шли к нашим халупам, к северу от Васильевки неожиданно затрещали пулеметы. Мы ускорили шаг. Потом побежали.

Бой шел всю ночь. Иногда совершенно затихая, иногда вновь забегая в тишину тревожными пулеметными очередями.

Мы сидели на улице, курили, пряча огоньки за забором, и шопотом разговаривали. Разговоры кружились все около одного и того же: куда прошлой ночью ходил третий взвод и зачем он упрямо не отвечает на все наши вопросы?

— Не поймешь, истинное слово! — Подпоручик Тяглов плюнул на огонек папиросы, и, склонив голову, стал прислушиваться, как шипит окурок между его пальцами. — У меня там земляк есть, — в третьем взводе. Тоже тобольский. . . Да и тот молчит. . . Дело это, видно, серьезное. . .

— Господа, мне кажется, если кто из нашего взвода и знает, то это только поручик Горбик.

— А и правда!

— Поручик Горбик! Поручик Горбик!

Но и подпоручик Горбик тоже только разводил руками.

— Да не знаю я, господа. Ей-богу, не знаю. Меня, господа, не звали.

— Ну, поручик, раз вас не позвали, — ерунда, значит! . . — насмешливо сказал в темноте мичман Дегтярев. — Без вас уж не обошлись бы, поручик! Верно?

Подпоручик Горбик как раз закуривал. — Может-быть! — сказал он, подымая голову и, как всегда, ласково и по-детски улыбаясь. — А знаете, который у меня сейчас на счету? Нету?. . Триста двадцать первый. . .

К утру нам разрешили лечь. Не раздеваясь, мы легли тут же, около забора, подобрав к бокам винтовки и положив головы на сапоги друг к другу.

. . . А бой за селом все продолжался.

Утро было пасмурное. Накрапывал мелкий дождь.

— Гру - дью под - дайсь!
Напра - во равняйсь!

— пела офицерская рота, —

В но - гу, ре - бя - та, ид - и - те!

Мы уже перешли мостик и приближались к кустам за Васильевкой.

— Как? Как? . . — опять закричал полковник Лапков. — Что? . . что за пение! Не тянуть! Он-нан-низмом занимались? Не так! . . Не так вяло! . . От-тставить!

Гру - дью под - дайсь!

— Отставить!

Гру - дью . . .

— Отставить! . . Поручик Зверев! Поручик Зверев, не болтать штыком, — два наряда! Поручик Морозов, вас за язык дергать? . .»

Гру - дью под - дайсь . . .

— Ах так? . . Так? . . — хрипел уже полковник. — Так, значит? . . Бегом!

Гру - дью под - дайсь!
Напра - во рав - няйсь!
В но - гу, ребя - та, иди - и - те!

— минут через десять, еще задыхаясь от бега, пела офицерская рота, подымаясь, наконец, на холмы.

По другую сторону холма, за кустами, лаял бульдог генерала Туркула.

Какой-то полковник в дроздовской форме, никогда прежде не виденный мною в полку, бегал вдоль шеренги выстроенных пленных. В руках он держал деревянную колотушку, — из пулеметных принадлежностей.

— Кто, твою мать? . . Кто, твою мать? . . Кто, твою мать? . . — кричал полковник, быстро, поочереди, ударяя колотушкой по губам пленных.

— Кто, кто, кто? . .

Добежав до левофлангового, полковник обернулся.

— Не говорят, ваше превосходительство.

— Нет? — спокойно улыбаясь, спросил генерал Туркул, подходя к пленным вплотную. — А ну, посмотрим! — И размахнувшись, он ударил кого-то наотмашь и закричал уже на все поле: — Нет?.. выходи тогда!.. Нет, не ты, твою мать!.. Ты выходи, рыжий!.. Рас-стре-ляю!.. Ага?.. Просить теперь, хрен комиссарский!.. А ну?.. Где коммунисты?.. Где комиссары?.. Показывай! Рас-стре-ля-а...

Рыжий красноармеец побежал вдоль строя. За ним, сорвавшись с места, кинулся криволапый бульдог. За бульдогом — Туркул.

... Дождь моросил все сильнее и сильнее. По подбородкам пленных текла бледнорозовая, замытая водою кровь.

— Этот!.. Эт'т!.. — испуганно тыкал пальцем на кого-попало рыжий красноармеец. — Эт'т!.. И вот эт'т!.. Этот!.. Этот!..

Офицерская рота стояла в оцеплении.

Опустив голову, я смотрел на сапоги. Стоящий возле меня поручик Кечупрак тоже смотрел в землю. За ним, закрыв глаза и облоктясь на винтовку, стоял поручик Аксаев. Поручик Ягал-Богдановский держал голову прямо. Лицо его горело.

— Этот!.. И этот вот!.. Этот!..

Потом из оцепления вызвали подпоручика Горбика. Подпоручик Горбик еще на ходу зарядил винтовку. Заряжая, он улыбался...

— ... Сорок семь, ваше превосходительство!

— Пять бы десятков следовало!.. А ну?.. Твою мать, да показывай!.. Катись колбасой, твою... Рас-рас-стре...

— Товарищи! Да не виновен!.. Товарищи...

— Ей-богу...

— Господа!.. Бра...

— Ей-богу вот!..

— Бра-аттцы!..

И опять раздались три выстрела. Подряд.

... Тяжело переваливаясь на кривых лапах, вдоль оцепления прошел бульдог. В зубах у него болтались клочья чьих-то штанов.

— Убирать не стоит! Мужики уберут.

И генерал Туркул отошел в кусты, чтоб оправиться.

Вечером наша хозяйка готовила яичницу.

Солома под сковородою ярко вспыхивала, бросая на стены желто-красные, быстрые тени. Сало шипело и брызгало. Откинув голову далеко назад, хозяйка стояла перед огнем почти неподвижно, и, казалось, была так же недоступна огню, как и офицерам, уже четыре дня подряд пытающимся заменить ей «уведенного» красными мужа.

— Слушай, молодая, а как ты... насчет выпивона?.. — спросил ее поручик Пестряков, когда солома, наконец, догорела, и тяжелая, круглая сковорода в руках хозяйки медленно поплыла к нам на стол.

— Если б раздобыла маленько, уважила бы нашу компанию. Как?

— Чего зеньки выпучил? Куда ставить-то буду? Тарелку подставь, что ль?

Хозяйка смотрела на нас из-под надвинувшейся на брови хустки.

— Молодая, а злющая!.. — улыбнулся поручик Ягал-Богдановский. — Ну ее к чорту, господа! Дура!.. В другое время и смотреть бы не стали, а она... фордыбачится!

В это время в хату вошел мичман Дегтярев.

— Господа, в полку не ладно что-то!

— Опять?

— Что такое?

— Да вот опять 3-й взвод куда-то отправили...

— Ну-у?..

— И не просто, господа, — с пулеметами... Я проследить думал, да прогнали меня... И что за время, чорт рога сломит!..

— Говорят, господа, куда-то и 4-ю роту повели.

Поручик Тяглов разрезал яичницу и, нагнувшись, сопел над самыми желтками.

— Серьезное, видно, дело!

Пар над яичницей быстро садился.

— Да ну их к богу! Надоело!..

Офицеры подвинулись к столу.

— Не трогают — живи, завтра в бой — умирать будем!..

— Верно! Господа, а насчет николаевской как? Эй, хозяйка!

Но хозяйки в избе уже не было.

Я разостлал шинель в сенях, рядом со спящим на полу подпоручиком Морозовым.

Очевидно, офицеры в хате уже приканчивали яичницу.

— Ты! Пень сибирский! Пальцем не лазь!

— Господа, не перекинуться ль в картишки? В преферанс сыграем? — доносились голоса из-за двери.

— Да сколько же, наконец, говорите вы? Триста семьдесят один? Верно?

— Нет еще... Ку-да! Триста пятьдесят девять только. Ведь двенадцать прихлопнул поручик Ягал-Богдановский.

Потом кто-то закрыл двери и в сенях стало тихо.

Этой же ночью мы выступили на Орехов.

А не доходя до Орехова, на Сладкой Балке, где провели мы следующую ночь, мы узнали еще небывалую для Дроздовского полка новость: поручик Барабаш, старый офицер-доброволец Румынского похода, снял с себя погоны, повесил их на кусты и вместе со своим вестовым, бывшим красноармейцем, перебежал к красным.

— А знаете, что еще говорят? Знаете?.. — уже на пути от Сладкой Балки испуганно спросил меня поручик Кечупрак. И обождав, пока подвода выехала на более ухабистую дорогу, он перегнулся ко мне и стал рассказывать под шум и треск быстро бегущих колес:

— Говорят, в четвертой роте, — еще до этого, — напали на след коммунистической ячейки. Да, да, ячейки... По ночам, когда четвертая стояла в заставе, члены этой ячейки, говорят, переходили к красным, а потом, уже с директивами, — вы понимаете? — возвращались опять... Потому наш третий взвод и лежал в цепи... Перед заставой он лежал... Не знали? Это когда они в первый раз уходили. А второй раз, — позавчера это... чорт дери, и не поверишь! — а второй раз они четвертую роту обрабатывали. Ну, конечно, — чтоб меньше свидетелей было... Все третий взвод... Как? Прижимкою брали... на психику... Да так же, как и тот раз с пленными... Но хуже еще, говорят! Туркул, говорят, всю роту перестрелять хотел... вместе

с офицерами. Что там творилось, говорят, господи! . . «Этот, этот, этот». . . Так же вот было! Но со своими ведь! . . Чорт возьми, ужась какой! И наугад, в свалку, огулом. . . Подумайте! . .

Подводы быстро шли по пыльной дороге. Трясло. Вдали опять гудело.

Шли бои со 2-й конной армией.

Трясло все больше и больше.

Я сидел на подводе, свесив ноги, гадая о том, состоял ли поручик Барабаш в коммунистической ячейке или же он, как старый офицер, не вынес подобной расправы над своей ротой и ушел из полка, оскорбленный.

И еще я гадал о том, — расстреляют ли его красные? . .

ОРЕХОВ.

Мы сидели под упавшей оградой кладбища.

Было совершенно темно. Ни луны, ни звезд не было видно. Со стороны кладбища, с тыла, — несло сыростью и ночным холодом. Со степей, откуда уже пятый раз в течение ночи наступали красные курсанты, тяжело валил сухой и горячий воздух. Ветра не было. Деревья на кладбище стояли не двигаясь. В степи трещал кузнечик. Потом и он смолк.

Слева от нас, за углом кладбищенской ограды, стояла команда наших пеших разведчиков, почти исключительно состоящая из вольноопределяющихся. В Орехов мы вошли уже с наступлением темноты, с условиями местности не были знакомы, а потому не знали также, отчего курсанты наступают исключительно на участок нашей, офицерской роты.

— Эх, ракету бы! — сказал кто-то.

Ему никто не ответил.

Но вот со стороны степей вновь поплыли далекие, сперва немного приглушенные, голоса:

. . . И реши-тель-ный бой,
С Ин-тер-наци-о-на. . .

— Становись! — шопотом скомандовал полковник Лапков.

. . . а-а-алом —
Воспрянет род людской! . . .

— Ать, два!.. Ать! — Уже выстроенные, мы мерно раскачивались.

. . . Никто не даст нам избав-ле-нья. . .

— Ать, два!.. Левой! Левой..

. . . Ни бог, ни царь и ни герой. . .

— Левой!

Ротный ударил о кобуру ладонью.

— «Вперед, дроздовцы уда-лые!» — грянули мы по команде. —

«Вперед, без страха, с на-ми бо-ог, с нами бог!». . .

. . . Добьемся мы освобожденья
Своею соб. . .
. . . Помо-жет нам, как в дни бы-лые
Чудес-ной си-ло-ю по-мо-ог!. . .

Наши голоса и голоса курсантов сливались и, качаясь, плыли над степью. Степь ожила. Казалось, ожила и темнота. Вырванная из тишины, она перестала быть грузной, и не давила больше на брови.

— От-ставить! — скомандовал вдруг подошедший к нам Туркул.

Оборвался вдали и «Интернационал».

И опять, перебивая друг друга, затрещали вдали два кузнечика.

•

— Десять!

Пальцы нащупали прицел.

— По линии черных кустов! — Генерал Туркул отошел к правому флангу, и, кажется, поднял в темноте руку. — ... пальба... ротой!.. Ро-та... — Затворы звякнули. — ... пли!..

Залп ударил, как доской по воде, и сразу же оборвался.

— Ро-та... пли! Ро-та...

Между каждым залпом над степью взлетала испуганная тишина. После шестого она потекла спокойно. Кузнечики затрещали с новой силой. Мы ответили им тихим звоном обойм.

. . . Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отво. . .

— Ро-та. . . — Затворы опять звякнули. — . . . Пли!

— Ура-а-а! — нагоняя эхо нашего залпа, раскатисто покатилось по степи.

— Ура-а-а-а! — закричали мы, нагоняя эхо курсантов.

И огромная, четырехсот-штыковая офицерская рота, не ломая фронта, двинулась вперед.

— . . . ротой!

Кузнечики трещали уже позади нас.

— Ро-та. . . пли!

— Рот-та. . . пли!

— Ротт-та. . . пли! . .

По всей степи бежали быстрые залпы.

. . . Это есть наш последний
И ре - ши . . .

— отходя за кусты, вновь, уже далеко запели курсанты.

Мы отходили к ограде кладбища.

Потом курсанты замолчали.

— Эх, закурить бы! — сказал кто-то, когда, дойдя до кладбища, рота опять легла в траву.

. . . Пробежал ветерок. Кусты за оградой зашумели.

Кладбищенские кусты, подступив за нами к самой ограде, висели в небе тяжелыми перекладинами.

А в тылу далекий Орехов молчал все так же выжидающе.

И в шестой раз встали мы и пошли с пением на пение. Потом в седьмой и, уже без песен, в восьмой и в девятый раз.

Когда мы пошли в десятый, пулеметы курсантов нас нащупали, и мы залегли цепью.

Подтянулась, выйдя налево, и команда разведчиков.

Разведчики открыли огонь. Скользнул влево и огонь курсантов.

Мы лежали в траве, не только не стреляя, но и почти не двигаясь.

— Тише, господа! . . Подпускай!

Две пули звонко ударились в траву за ногами. Третья звякнула о чью-то винтовку.

— Не стонать! . . Оттяните его! . . Тише! . .

Поручика Иванова 2-го отнесли в кусты за кладбищем, к которому, по звеньям, уже оттягивалась и команда разведчиков.

А пулеметы курсантов, очевидно, растерянные нашим молчанием, подняли прицел и били сквозь чащу сонного кладбища, куда-то далеко за выселки Орехова.

... Ухнула пушка. Кажется, — наша. Потом еще раз. Завязался короткий артиллерийский бой.

— Эх, ракетку бы!..

— Дались тебе эти ракеты! Молчи ты!..

Наконец, и нас отвели к ограде.

Прошло полчаса.

И вот сквозь темноту опять пополз сдержанный шопот.

— Идут!.. Идут!..

— Донесли разве?..

— Кто?.. Секреты?.. Кто донес?..

— Да тише, господа!..

— Рав-ня-айсь!

На минуту из-за тучи выпала луна. Далекие кусты в степи быстро пригнулись.

— Вот они!.. Вот!.. Видите?..

Но луна опять опрокинулась за тучи, и между нами и курсантами вновь тяжелою стеной опустилась темнота.

Локтем левой руки мы искали соседа. Ладонь правой лежала на винтовке. Щека тянулась к штыку. Когда холодок штыка ее обжигал, делалось как-то спокойнее.

— Ждите команду! — обходил роту полковник Лапков. — Без команды не бить!.. Никто без команды огня не откроет.

Полковник отошел к левому флангу.

Кто-то зевнул:

— Спать бы!..

И вдруг над нами взвизгнула скользкая полоса пуль. И в тот же момент перед нами сверкнули острые змейки огня, и что-то черное метнулось к нам навстречу, клином ударило в развернутый строй, смяло кого-то и нескольких бросило в сторону.

Мы кинулись за ограду.

... Два куста хлестнули меня по лицу. Зацепившись за третий, я упал лицом в свежую зелень могильной насыпи. Надо мной кто-то пробежал. Кто-то ударил сапогом по затылку, и я скатился с могилы.

Над деревьями гудели снаряды. Крапива жгла лицо. Совсем близко за кладбищем снаряды разрывались.

«Заградительный огонь. . .» — подумал я и, ощупью отыскав винтовку, снова встал на ноги.

— Эй! Кто здесь?

Я пошел на голос, раздвигая кусты винтовкою.

— Что случилось? . . Мичман! . .

— Поручик! . .

Мичман Дегтярев стоял над холмиком осевшей могилы и тяжело дышал, обхватив крест рукою. Крест медленно наклонялся.

Ни пулеметной, ни ружейной пальбы слышно не было. Затихала и артиллерия.

— Чорт! . . А? . . Или красные уже отбиты, или. . . или. . . Вы понимаете что-либо, поручик?

Крест под ним повалился на землю, задев за кусты, которые всплеснули, точно волны.

Подошли еще два офицера. Потом еще три.

— Господа, нужно назад! . .

— Господа, смелее! . .

И мы пошли к ограде, на всякий случай рассыпавшись цепью.

* * *

— . . . Нервы, чорт дери!

— Одиннадцатая атака!.. Шутка ли!.. Здесь и сам дьявол...

— Но что случилось, господа? . .

— Господа, построимся. Господа, нельзя так! Ведь красные под самым носом! . .

— Капитан! . .

— Поручик! . .

— Капитан, примите команду! . .

— Капитан Темя! . .

— Ста-но-ви-и-ись! . .

За оградою собиралась разбежавшаяся офицерская рота. Строились уже и разведчики, нами же смятые и побежавшие вслед за нами. Командира офицерской роты с нами еще не было.

— Далеко забежал! . . — сказал кто-то. — Я его у мельницы видел. Как заяц прыгал. А ну, равняйсь! Да равняйсь же! . .

*

— Вот и все! Не предупредив, Лапков выдвинул пулеметные двуколки, — рассказывал из строя подпоручик Морозов, кажется, единственный офицер, не поддавшийся панике. — Конечно, не перед фронтом... на это его хватило!.. — за флангами, конечно... Но все равно, — предупредил бы, дурак!.. Очевидно, курсанты дали залп и почти по цели... Слыхали, как взвизгнули пули?.. А наши пулеметы, очевидно, ответили... Думаю, что так, иначе, что за огонь видели мы в таком случае? Одну лошадь ранило... из тех... наших двуколочных... Она и понесла... И въехала... — да дышлом! Поручику Коркину все зубы выбила... И могли же они переколоть нас... за милую душу!.. Господа, а где был Туркул?.. Да?.. Ну, наше счастье!..

В это время за нами зашуршала трава.

— Ноги повыдираю!.. Бежать?.. — Голос вынырнувшего перед нами полковника Лапкова зашипел вдруг, как на огне сало — Беж-ж-жа-ать?.. Я... я... я при... прикажу... Прикажу десятого... Бежать?.. Офицерье!.. Трусы!..

Мы стояли, угрюмо опустив головы.

* * *

— Где?..

— В кустах, господин полковник! — ответил ротному поручик Ягал-Богдановский.

Потом мы услыхали частые глухие удары.

— По швам!.. По швам руки!.. — И удары посыпались вновь. Чаще и чаще...

Когда, наконец, все стихло, кого-то за нами быстро повели в кусты. Побежал в кусты и генерал Туркул, только-что вернувшийся, кажется, из солдатских рот.

— Поручик Горбик!.. — забыв про осторожность, закричал в кустах полковник Лапков.

Мы тревожно оборачивались в темноту.

Через минуту в кустах раздался выстрел.

Это расстреляли поручика Кечупрака, в панике сорвавшего с себя погоны.

...А далеко на горизонте уже едва-едва забрезжил рассвет.

Курсанты шли под белой полоской неба, низко склонившегося над степью...

Последнее, что заметил я возле ограды кладбища, — это профиль Туркула и его движение рукой: идите!..

В кустах на кладбище весело чирикнула овсянка.

А мы двинулись вперед, на ходу разомкнулись и взяли штыки на перевес...

По траве бежал низкий туман. Мы шли сквозь туман, разрывая траву коленями. Колени мне казались совсем легкими, и очень тяжелыми казались сапоги. Полковник Лапков шел на правом фланге. Рот его был приоткрыт, рука бегала по кобуре нагана.

Мы шли в контр-атаку.

...Как и мы, курсанты разомкнулись всего лишь на один шаг. Как и нас, их можно бы было взять одним пулеметным взводом. Но пулеметы с обеих сторон молчали. Очевидно, командир курсантов, так же, как и генерал Туркул, решил боя не затягивать.

Петь курсанты перестали. Мы также шли молча. Только трава под коленями рвалась, как под рукой приказчика рвется тугой коленкор: раз! раз! раз!..

Я помню, — ногти вошли в ложе винтовки. Помню, как остро хотелось мне, чтоб навстречу нам брызнули пули. Но рота шла молча.

И молча шли курсанты. Не стреляя.

Прицел шесть... Нет, уже четыре... Четыреста шагов. Рота шла, виляя флангами. Под ногами рвался коленкор: раз! раз! раз!..

Я скосил глаза направо, туда, где шел полковник Лапков. Полковник Лапков роты не вел, — рота тянула его за собой. Он бессмысленно смотрел вперед. Нижняя губа его свисала, подбородок дрожал. — «Зачем он не бросает?.. Нужно бросить вперед», — думал я, все крепче сжимая винтовку. — «Рота не выдержит... Бросай!.. Да бросай же!..»

А коленкор под ногами рвался уже медленней — раз! раз! раз! — точно рука приказчика рвать его уставала. Ра-аз! ра-аз!..

Триста...

Штыки курсантов поднялись — наши опускались. Цепь курсантов угловато выгнулась. Теряла равнение и наша. Двести... Местами цепь уже порвалась. Но подбородок полковника все еще свисал вниз... Сто... Цепь завиляла. —

«Раз, два, три. . .» — считал я секунды, — шагов считать я больше не мог. . . И вот, сломавшись зубчатой пилой, цепь заерзала, с двух сторон сдавленная вдруг отяжелевшими флангами. — «Сейчас, сейчас побежим. . .» — мелькнуло во мне. — «Сейчас! . . Да бросай, бросай же! . .» — Но раздался выстрел, — кто-то из нас не выдержал. И вслед за выстрелом стиснутый в груди страх рванулся вперед хриплым, освобожденным криком: — Ура-а-а! . .

Побежали не мы. Побежали курсанты.

Широкой цепью мы шли назад к ограде. Хотелось курить, но никто не мог крутить цыгарки.

Только один поручик Горбик то и дело выбегал из цепи, — то вперед, то назад, то в сторону.

Поручик Горбик пристреливал раненых курсантов.

Прошло несколько часов.

Квартирьеры все еще не возвращались. Жара текла по пыльным улицам Орехова. На камнях она оседала. Мы лежали под самыми заборами, там, куда камни не доползали.

Через улицу, — тремя-четырьмя домами дальше, — разместился штаб полка. Около ворот штаба стоял подпоручик Горбик.

Орехов был пуст. Жители сидели в домах. Дома были заперты.

Посреди улицы, вдоль которой разместилась офицерская рота, валялся дырявый сапог. Какой-то котенок легонько толкал его лапкой.

— Смотри-ка, зверюшка какая! — сказал, улыбаясь, поручик Аксаев.

— Ух, жара! . . — вздохнул возле него капитан Темя. — А уснуть бы сейчас, господа! . . А? . . И выспаться! . .

— Но не тем холо - дным сном моги - лы

— басом запел кто-то.

— Дурак! . . Не холодным? . . А каким тебе еще? . . Тебе, чтоб и в могиле печенки припекло? . :

Кто-то засмеялся.

А взобравшийся на сапог котенок вдруг выгнул спину, прыгнул в сторону и скрылся в траве канавы.

По улице вели пленных.

Все три пленных курсанта были босы. Руки у них были скручены за спиной. Когда курсанты с нами поровнялись, один из них высоко в воздух подбросил ногой дырявый сапог с улицы.

— Ишь нервничает! . . — сказал поручик Пестряков, и тяжело и громко зевнул.

. . . Солнце пекло все сильней. Из-под соседних ворот опять выбежал веселый котенок.

— А зверюшка-то, зверюшка-то наша! . .

Но вдруг, подняв головы, мы удивленно посмотрели друг на друга.

— . . . за - клей - менный
Весь мир голодных и ра - бов!

— громким голосом пел кто-то в кустах за пыльными домишками.

— Господа!

— Господа, кто это? . .

Кое-кто из офицеров приподнялся.

— Такого нахальства! . . такого. . . — И сплюнув, поручик Ягал-Богдановский встал и пошел через улицу в штаб.

А голос за штабом крепчал и рос: —

Эт-то есть наш послед-ний —

все выше и выше подымался он, —

И реши-тель-ный бой,
С Интер. . .

Здесь короткий выстрел подсек пение.

Следующие два выстрела упали уже в тишину. . .

* * *

Солнце сдвинуло тень под самые наши ноги. Мы лежали, еще ближе прижавшись к забору.

— . . . И пел, господа офицеры, и пел! . . — рассказывал какой-то вольноопределяющийся. — Вокруг крики: «Заткнись! . . Ты! . . Молчи! . . Сволочь! . .» А он, господа офицеры, — и знаете, плюгавый такой! — стоит себе и, понимаете. . .

— Господа, слыхали? — еще издали крикнул нам подпоручик Горбик. — Слыхали, как Туркул его петь заставил? . . «Ах, сука такая! . . Пой на прощанье! . . — кричал Туркул, — «Пой, чтоб знал, за что подыхаешь! . .»

— А не врете?

Подпоручик Горбик вспыхнул. Потом улыбнулся.

— Вам бы, Дегтярев, в че-ка служить! Все допытываетесь! Спросите у генерала Туркула. Ага, не спросите!..

Кто-то стучал в закрытые ставни окна:

— Молока!.. Хозяйка!..

На самом солнце, посреди улицы, стоял подпоручик Морозов.

Он долго смотрел почему-то на драный сапог, которым играл веселый котенок и который ткнул потом в сторону идущий к штабу красный курсант.

АЛЕКСАНДРОВСК И БОИ ВДОЛЬ ДНЕПРА.

Лошади шли рысью. С подвод соскакивали солдаты, бежали в степь на баштаны и вновь, уже с арбузами, нагоняли обоз.

За подводами каждой роты шла тачанка с бочкой. Воды в бочках не хватало. Возле бочек, по всему нашему пути через степи, бежало по несколько солдат. Несколько офицеров бежало и за бочкой нашей роты.

— На Днепр идем, — напьетесь! — кричал с подводы полковник Лапков. — По ме-ста-ам!

— Накачал брюхо и командует! — ворчал мичман Дегтярев, в полоборота сидящий на краю нашей подводы. — А нам пальцы сосать, что ли?

Сидящий по другую сторону мичмана поручик Ягал-Богдановский обернулся: — Мичман, не забывайтесь! — и опять склонившись над поручиком Пестряковым, вопросительно поднял брови: — Так!.. Ну, и что же?..

— Вот и говорю... Махно нам подчинился. Володин подчинился. Граф Пален в Белоруссии подчинился... Это уже три... — продолжал поручик Пестряков, растянувшись на подводе и выгрызая из разбитого кулаком арбуза красные куски мякоти. — Булак - Балахович с Савинковым — это уже четыре... Атаман Семенов — пять... Это и называется своими силами!.. Народными, так сказать, силами... Ну, так что же вы скажете, дорогой Ягал-Богдановский?..

Поручик Ягал-Богдановский усердно выдувал застрявший в мундштуке окурок. — Что?.. — Щеки его ходили, как

балон пульверизатора. — Что? .. А то, что, еслиб мы, вместо этого, подчинились польскому командованию...

— Молчите, ренегат! — крикнул вдруг мичман. — Патриот называется! А губернии почем продаете, сукин сын?

— Отродье эс-эровское! Истерик! Хайло заткните! — побледнев, вспылил всегда сдержанный Ягал-Богдановский.

— Так!

— Крой! Крой его!

— Матом натягивай! .. Матом! — обрадовавшись, загалдели офицеры, которых сдержанность Ягал-Богдановского всегда несколько стесняла.

— А ну! ..

— Еще!

— Наша берет! .. Матюком! .. В три матери загибай! .. Матерью! ..

— Я? .. Это я ренегат? ..

Уже овладев собой, поручик Ягал-Богдановский презрительно поджал губы, опустив под косой линией коротко подстриженные, всегда прямые усики.

— Я предлагаю, мичман, созвать...

И вдруг, взмахнув рукой, он быстро соскочил с подводы и закричал, схватив подводчика за портки:

— Стой, мать твою! .. твою мать! стой! ..

Но колесо подводы уже повернулось и поломало его упавший на дорогу мундштук.

... Твою мать в три бога и в чорта косого! .. твою... Куда уши, — болван! чорт! — спрятал? ..

Офицеры на подводе захохотали, сразу, словно по команде.

— С производством, поручик Ягал-Богдановский!

— Вчера была девица, сегодня дама!

— С крещением!

— Магарыч!

— Магарыч!

... А вдали за облаком пыли уже гремели орудия.

Рассыпавшись лавой, шли куда-то кубанцы. Наши 1-й и 2-й батальоны соскочили с подвод и также рассыпались в цепь.

За цепями показались далекие дома Александровска.

* * *

Мичман Дегтярев стоял на подводе, широко расставив ноги, и смотрел вдаль.

— Ну что? — не подымая головы с вещевого мешка, спросил его поручик Пестряков. — Докладывайте!

— Да ничего! . . Перестрелка.

Но вот по полю покатилось далекое «ура». Роты бросились к Александровску, выйдя из цепей и образовав густой, черный треугольник. За город бросились кубанцы.

Наши подводы свернули с дороги и тоже помчались к городу, — прямо через поле.

Мимо нас, нагоняя роты, пролетел автомобиль Туркула. За ним другой — генерала Витковского.

— Сюда! Санитары! . . — кричали раненые. Но никто раненых не подбирал. Все стремительно шло на Александровск.

— Поймаем!

— Возьмем!

— Нагоним!

— Потопим! . .

Неслась по полю и наша батарея.

— Эй! Не отставать! Эй!

Одно орудие в трехпарной упряжке долгое время шло, грохоча зарядным ящиком, возле нашей подводы. Потом обогнало и пошло впереди нас.

— Здорово! Чорт! Нагоним!

Шесть мулов, впряженных в орудие, неслись, прижав к голове острые уши. Вбежав в полосу встречных кустов, они отдернули уши еще испуганней.

— Го. . . Го. . . Гони! . . Нагоним!

Кусты под подстромками быстро пригнулись. Легли под колеса. Кто-то под колесами вскрикнул. На секунду орудие задержалось, потом, виляя зарядным ящиком, опять понеслось рядом с нами.

В кустах, придавленный колесами орудия, остался штабс-капитан Карнаоппуло. Он лежал на животе, лицом в землю, на которой длинными змеями чернели его, окрашенные кровью, усы.

— Нагоним!

— Возьмем!

— Потопим! . .

Но красные успели форсировать Днепр.

Когда мы въехали в пустой город, наша артиллерия открыла огонь по последним, уходящим баржам.

...Кажется уже в третий раз за время нашего пребывания тушил Александровск огни.

Занятия давно окончились. Была произведена уже и вечерняя поверка. Мы стояли в кругу и разучивали новую песню, — на этот раз в честь генерала Витковского, наскоро сочиненную поручиком Винокуровым.

Поручик Винокуров, или «лейб-поэт полка», как в насмешку называли его в нашей роте, числился прикомандированным к штабу, где писал он «Историю Румынского похода и Дроздовской дивизии». От поры до времени он сочинял также и стихи, сам же подбирал к ним мотив. Потом стихи эти переписывались и разучивались по ротам.

...Тяжелые, черные листья каштана качались под ветром. Над ветром плыли спокойные, вечерние звезды.

— Чей черный Форд ле-тит впе-ред
Пред сла-вными пол-ка-ами —

без конца тянули мы всю ту же нудную песню, —

И кто к побе-де нас ве-дет
Уме-лыми ру-ка-ми?...

— Отставить!.. Не так! — оборвал поручик Винокуров.

— «И кто к побе... К побе-е...» — повторял он, нараспев. — Поняли?..

— И кто к побе-де нас ведет...

С дороги поднялся ветерок. Бросил вверх шестилистники черного каштана. Они потянулись к небу, точно жадные, широко растопыренные пальцы. Но звезды ушли из-под листьев и также спокойно поплыли дальше.

Влево от каштановой аллейки, возле штаба полка, толпились вновь мобилизованные. Когда песня обрывалась, до нас доносились робкие, просящие голоса.

Вслед за ним короткие оклики часовых.

— Да пусти, голубчик! плакала женщина. — С провизией я... Отдам ему только... И пойду себе с богом...

— Назад!

— Пустите ее... господин!.. Да ведь мать это... Послушайте!

— Пошла! Пшла!

Но второй часовой перебил первого: — Постой! Постой-ка! . . Курица? . . Послушай, курица у нее!

— Курица? Давай сюда курицу!

— Милые! . . Ми-и-лый! . . Да сыну это. . . сыну. . .

— . . . улице
Не пройдет и курица!

— весело запел второй часовой.

Если ж курица пройдет,
То дроздовец унесет. . .

— Ать, два!

— . . . ле - тит вперед
Пред сла - вны - ми пол - ка - ми!

— запели мы снова.

* * *

Было уже совсем темно.

Я отошел вглубь улицы и сел на крылечко двухъэтажного деревянного дома.

В темноте передо мной какая-то собака обнюхивала тумбу. Потом собака побежала дальше.

— Сидит? . .

— Сидит!.. — услыхал я над собой чей-то испуганный женский голос. И жалюзи во 2-м этаже тихо опустились на окне.

Я поднял голову. Звезды над крышей плыли еще гуще, чем прежде. Крыша подравнивала их и, казалось, хотела уплыть вместе с ними.

— . . . Пред славными пол - ка - а - ми

— вполголоса напевал кто-то, не замечая, проходя мимо меня. —

И кто нас к ги-бе-ли ве-дет
Кро-ва-вы-ми ру-ка-а-ми. . .

Я кашлянул. Песня сейчас же оборвалась.

Не знаю, но, кажется, пел ее мичман Дегтярев.

Опять подбежала собака и опять остановилась возле тумбы. Надо мной, слабо скрипнув, опять приподнялись жалюзи и сейчас же вновь опустились.

— Ухожу! Ухожу! . . — крикнул я, улыбаясь. Встал и пошел в сад, где был расположен наш, 1-й, взвод.

Попыхивая огоньками папирос, в саду за составленными винтовками сидели офицеры.

— Скука!

— Да-а! . . А-адская скука! . .

Пройдя между винтовками, я остановился около крайней группы офицеров.

— Не то выпить хочу, — лениво гудел капитан Темя, — не то постегать кого. . . Матом хотя бы. . .

— Воистину, господа, невесело! И отдых не отдых. . .

— Кому как! . . Вот Ягал-Богдановский баб отыскал. Каждую ночь пропадает.

— Пропадает?

— Пропадает. . .

Сквозь листья, шуршащие под ветром, пробежала тишина.

— А Пестряков. . . Знаете, что поручик Пестряков делает? . . На дереве сидит, — ей-богу, — и глядит, как девчонки какие-то раздеваются. . . В окно. . .

— Ну? . . Глядит? . .

— Глядит. . .

И опять тишина зашуршала тревожными листьями. . .

— Пойдемте, господа, снимем его, — предложил капитан Темя. — Попугать никого не вредно! Ловлю дезертиров изобразим, что ли — и за ноги его! . . А? . .

— Идея!

— А ну, подымайся!

— Не темя, а голова, ей-богу! . .

Офицеры встали и, обойдя винтовки, пошли к воротам.

— Эй! Кого ведете? Коммунистов? — уже в воротах окликнул кого-то поручик Горбик. — Сколько?

— Мобилизованных, — ответили с темной улицы. — Тридцать четыре. . . И то с трудом! . . Все разбегаются. И так, — чорт! — под кровати лазили! . .

Ворота скрипнули в последний раз.

. . . Ночь цеплялась за кусты, плыла дальше и тихим ветром с Днепра качала траву над дорожками сада. В траве около главной дорожки лежал подпоручик Морозов. Запрокинув вверх голову, он смотрел на бегущие звезды.

Я долго ходил возле него. Мне хотелось заговорить с ним; но о чем говорить — я не знал.

— А на Днепре — оживление! — вошел в сад поручик Аксаев. — Кубанцы там... Говорят, переправляться будут.

Он вздохнул и продолжал, уже живее: — А рыб-то!.. рыб сколько!.. Так, господа, и плещутся!..

Далеко на улице раздался хохот. Очевидно, поручика Пестрякова поймали за ноги.

Под следующее утро мы выступали из Александровска.

Было еще совсем темно. Мы уже садились на подводы, когда побежавшие за Ягал-Богдановским офицеры притащили его завернутым в шинель.

— Кто?

— Где?

— Когда?..

Горло его было перерезано. Во рту торчала еще не вынутая тряпка.

— А в доме никого не было, — шопотом рассказывали офицеры. — Ни баб этих, ни соседей... А в кармане — записка... Так и торчала... Во френче... Вот...

— Свети!

— Да свети же!

Чья-то папироса над бумагой поплыла красным огоньком вдоль неровных строчек:

«Благодарим за сведения. Возвращаем по принадлежности и кланяемся. Итак, до скорого свидания на Перекопе».

Мы тихо положили поручика Ягал-Богдановского в канаву, прикрыли крапивой и побежали по подводам.

— ...И молчать! Ясно? — Поручик Пестриков тер обожженые крапивой руки. — Отпускай вас на свою голову шляться!.. Будете сидеть, — как приказано. Погибнешь с поблажками, чорт! Молчать, значит! А там вывернемся! Как-нибудь!.. Бои ведь будут...

Весь следующий день нестерпимо палило солнце. Деревни и хутора бежали к Днепру. Но, окружив себя камышами, Днепр спокойно огибал испещренные хатами холмики и, только изредка подпуская нас к своим берегам, вновь уходил куда-то в сторону, оставляя степному жаркому ветру и деревни, и дорогу, и наш бесконечный обоз.

К вечеру, кажется второго дня, мы наконец подошли к нему вплотную. Слева от нас, за осенними золотыми садами, белели хутора. К северу, уже по другую сторону Днепра, виднелся Никополь. Над Никополем взлетали легкие дымки разрывов.

— Бабиев?

— Думаю, — Бабиев! — ответил поручик Пестряков, подымая к глазам бинокль.

Днепр перед нами качал упавшие в него тучи. Два буксира тянули ряд привязанных друг к другу барж.

Баржи относило в сторону, и они шли к нашему берегу, выгнувшись бумерангом.

— Кажется, раненые... — Поручик Пестряков медленно наклонил бинокль и, засопев, долгое время наставлял его на баржи. — Да... Раненые! Вот, подождите, расспросим.

— По па-а-двода-а-ам! — опять поплыла над ротами долгая команда.

— Расспросишь!

Кувыркались чайки.

И опять Днепр упал за холмы, оставив нас все еще знойному вечернему солнцу.

Кружились стрижи...

За нами бежала пыль.

— Куда мы?..

А к вечеру кто-то принес известие, что идем мы на Каховку, в которой, несмотря на переброску нашей конницы на правый берег Днепра, все еще держались красные, пользуясь ею, как базой для набегов и прогулок по нашим глубоким тылам.

— Ложись!..

— Не расползаться, приказано! Ложись рядом!..

— Винтовок не составлять!.. Клади около!..

— Дневальный!

— Поручик Зайчевский!..

За опушкой черного леса молчала ночная степь. В степи бродила красная конница, кажется, 2-й Конной армии.

Два дня, отбиваясь от конных налетов, кружил по степям наш полк. И только теперь, ночью на второй день мы, наконец, остановились.

— Не понимаю, — удивлялся подпоручик Тяглов, — ведь правый берег нами уже занят. И откуда они? . . Ведь не мы окружены, они ведь. . .

— Кольцо в кольце, понимаете?

— Какое там кольцо! . . А Каховка?

— Господа, не теряйте времени! Господа, ложитесь!

Но есть хотелось больше, чем спать. Кухонь с нами не было. Хлеба едва хватало. В этот вечер не выдали вовсе. Офицеры ворчали.

— Ложись! — упрямо приказывал поручик Пестряков. — Во сне пообедаешь!

— Да подвинься!

— А не толкайся, говорю! Слышь? . .

— Господа, не грызитесь!

В темноте бродили дневальные. Где-то очень далеко шел артиллерийский бой. Кажется, к северо-западу. Это дрались с красными генералы Драценко и Бабиев.

Я лежал, слушая отрывки отдельных разговоров. Наконец повернулся лицом к орешнику.

— . . . А стена камеры, вся как есть, была исчерчена, — кому-то за орешником рассказывал поручик Зайчевский. — Здесь сидели юнкера Владимирского военного училища такие-то и такие-то. . . «Да здравствует Учредительное Собрание!» — Я подошел к следующей надписи: «Долой Керенского! Вся власть Советам! Рабочие Путиловского завода Петров Иван и Петр Малинин». Кажется, в этом роде что-то. Не помню. . . Рядом была еще одна надпись: «генерал-майор» — не помню какой, — «Зинченко» кажется. А внизу: «Боже царя храни!» — очень четко. . . Я взял карандаш и написал: «Прапорщик Зайчевский». «А лозунг?» — подошел ко мне какой-то сидящий со мной капитан. Лозунга у меня не оказалось. . . Ну и вот. . .

Меня все более клонило ко сну.

Передо мной, прорастая сквозь сон круглыми желтками, медленно вздувалась малороссийская яичница. На сале. И с помидорами. . .

«Вот бы ее ножом!» думал я. «Напополам, и еще раз напополам! . . Крест на крест. Потом на вилку и в рот».

И я уже потянулся за вилкой, как вдруг шопот надо мной стал тревожнее.

Я быстро сел. Но сон, как извозчика на козлах, тихо меня раскачивал. Чтобы овладеть собой, я подтянул под себя ноги и прислонился к стволу убегающей в темноту ели.

Вокруг поручика Тяглова, только что пришедшего из штаба полка, толпились черные фигуры.

— Убили?

— Кого? . . Кого убили? . . — услышал я тревожные вопросы.

— Туркула? . .

— Но где? . . Когда? . .

Недалеко от нас пасущиеся лошади мирно жевали траву. Кто-то ласково хлопал одну из них ладонью.

— Устала, бедняжка? . . Заморили? . . Ну, ничего, ничего. . . Выбьемся! . .

— Да не Туркула вовсе! . . Господа, и не стыдно! . . Что за паника! . . Убили Бабиева. . . — рассказывал мичман Дегтярев. — Но вот, говорят (это, господа, хужее), вся наша конница с правого берега сбита. . . Вся. . . Никополь опять сдан. . . Говорят, наши части отступали в панике. . .

— И рубили их, говорят, рубили! . .

— Подожди, и мы порубаем! . . Вот дорвется до них Туркул! . .

А поручик Аксаев все также ласково беседовал за кустами с какой-то лошадью.

— Отдыхай, Машка! . . Э-эх, отдыхай, милая! . . Это тебе, Машка, не навоз возить! . . Это тебе. . .

Я опять качнулся и, потеряв за спиною ствол ели, тихо опустился на траву. . .

— Вставай! Вставай! . . — прикладом в бок толкал меня подпоручик Морозов.

Рота построилась и, сдвоив ряды, молча пошла в лес.

Из леса в степь бежала узкая полянка. За ней, далеко через дорогу, уползали куда-то наши солдатские роты, уже рассыпанные в цепь.

Мы остановились в лесу, — поперек дороги, — развернутым строем в степь.

В лесу кричала иволга. «Дождь будет! . .» — думал я.

На пне, сейчас же за нашей ротой, стоял генерал Туркул. Туркул смотрел в бинокль.

— 2-й и 1-й, ваше превосходительство! — докладывал Туркулу оперативный адъютант. — 3-й батальон еще в резерве.

— И пусть остается! Если нужно, двинем офицерскую. Пробьем цепь и смажем их к чортовой...

Но вдруг он соскочил с пня и, выбежав вперед, остановился перед строем.

— 3-й!.. 3-й, куда прете? — Сквозь лес, ныряя в кустах, шли роты 3-го батальона.

— Батальонного сюда!.. Полко-о...

Но 3-й батальон переменил вдруг направление и бросился на нас.

На солнце, широким потоком, падающим на орешник, сверкнули ручные гранаты.

— Сдавайсь! — кричал, размахивая кольтом, бегущий перед красноармейцами комиссар в погонах и с белой повязкой вкруг фуражки. — Сдавайсь!..

И в тот же момент под глухой треск разрывающихся гранат, левый фланг нашей роты повалился, и над ним, прямо на нас, метнулась пыль и звонкие осколки.

Мы побежали.

— Назад!..

В лесу, сейчас же за первыми кустами, Туркул нас обогнал. Обогнав, обернулся и сбил кулаком двух бегущих передо мной офицеров.

— Назад! Ура!

Когда, со штыками на перевес, мы вновь выбежали на полянку, красные уже кружились на земле под огнем пулеметов наших разведчиков, стоящих на соседней с нами поляне.

— Ура! — кричала офицерская рота. За ней, тоже с криком, бросилась команда разведчиков. Пулеметная стрельба сразу оборвалась.

Передо мной, прыгая через раненых, бежал подпоручик Морозов. Офицеры вокруг нас уже работали винтовками. Я помню, как взлетали кверху приклады, и как острой молнией летели штыки к земле.

Не задержавшись на поляне, подпоручик Морозов зачем-то сбежал в степь и, пересекши дорогу, бросился туда, где цепи солдатских рот широким фронтом отбивали атаки красных цепей.

Я и еще несколько офицеров побежали вслед за ним. А на поляне за нами трещали быстрые выстрелы, и уже носился хриплый и дикий хохот.

Было далеко за полдень.

Отдыхая после боя, 8-я рота лежала в степи. К лесу ее почему-то не оттягивали.

— Можете теперь итти, — сказал нам командир 8-й роты. — Скажите полковнику Лапкову, что замещали у меня раненых взводных... Счастливо!

...Сухая, как сено, трава лежала на земле примятая. В траве блестели обоймы и медные гильзы из-под патрон. Около леса стояли пулеметные двуколки. Слева из леса выходили санитары. Санитары несли носилки.

Я все более ускорял шаг, пытаясь нагнать подпоручика Морозова, идущего впереди меня и почему-то все более и более подающегося вправо. На ходу он то и дело наклонялся. Немного нагнав его, я заметил, что наклоняется он над ранеными. У некоторых он что-то отбирал и пускал потом по ветру какие-то мелко изорванные бумажки.

— Това-а.... Товарищи!.. Пи-ить! — услыхал я вдруг чей-то голос. Я остановился. В нескольких шагах от меня лежал раненый красноармеец. За его головой торчала его винтовка, штыком в землю воткнутая подпоручиком Морозовым.

Подойдя к раненому, я наклонился и протянул ему флягу.

Зацепившись за траву, в ногах красноармейца тоже валялись какие-то клочки изорванной бумаги. Я поднял несколько, и расправил. Это были изорванные листы его красноармейской книги.

«...бернии Новгородс» — прочел я на одном клочке. На другом: «...полка, 5-й роты», на третьем: «...волец, комму...»

Только тогда я понял, отчего подпоручик Морозов рвал красноармейские книги некоторых раненых.

Когда мы подымались к лесу, на опушке несколько офицеров 4-го взвода рыли могилу. Двое сколачивали большой березовый крест.

— И многих убило?

— Без малого — два отделения, — ответил мне поручик Устинов. — Ну и мы ж их перекололи! Всех! .. Впрочем, их там не так уж много было!

— И откуда Туркулу батальон померещился? Да еще 3-й, огромный такой! .. Рота, и то едва ли! ..

— Сволочи! — пробасил третий офицер, поручик Макаров. —Удивляюсь, господа! Словно на Руси у нас своих сволочей мало! Вот сейчас, — смотрите, — китайцев каких-то пригнали!

И наклонившись, он вновь ударил по земле топором. Ель над ним задрожала. С ветвей посыпались шишки.

— На бедного Макара все шишки валятся! — засмеялся поручик Устинов.

Мы уже входили в лесок.

— Нет, брат, снимай и штаны и гимнастерку! Всё, брат, снимай!

Поручик Пестряков сидел на земле, вытянув вдоль корней кривые, как у кавалериста ноги. В руках он держал наган. Перед ним, окруженные офицерами, стояли человек 8 пленных, — низкорослых и желтолицых, с редкими, острыми бороденками.

Один уже лежал на земле. Трава под ним краснела.

— Я! .. Подождите! .. Я! .. — подбегая ко взводному, кричал подпоручик Горбик. — Пози-и-ться?! — и подскочив к пленным, он ударил одного из них прикладом по голове. — Раздевайся, китайская кавалерия, мать твою в шелк!

— Нэ Китай! — бабьим голосом закричал, хватаясь за голову, пленный. — Нэ Китай! .. Башкирия!

Держа руки над головой, он прыгал под ударами, быстро дергая острыми плечами.

— Моя нэ Китай! .. Моя — Башкирия! .. Нэ... нэ... нэ Китай!

— Умора!

— С ума сойти!

— Ну и публика! .. — хохотали офицеры.

— Ну, раз Башкирия, ничего не попишешь! Одевайся! — сказал поручик Пестряков, вставая.

Но подпоручик Горбик вскинул в плечо винтовку.

— Вот этого, поручик, этого, — врет! — уж больно на китайца смахивает!

— Да сто-о-ит ли? — Пестряков зевнул. — Пусть дышет, пу-у-у. . .

Но подпоручик Горбик выстрелил.

Через лес шел генерал Туркул.

Часа через два вдоль дороги перед лесом уже вытягивались подводы офицерской роты.

Мы спускались с опушки. Около свежего, березового креста, бросавшего на дорогу длинную, тяжелую тень, я остановился и, поджидая поручика Морозова, оглянулся назад.

За крестом на зеленой лужайке лежали переколотые красноармейцы. У тех, кто не был еще раздет, карманы были выворочены.

— Коммунисты, думали. . . А у них и махорки нету! — сказал за моей спиной капитан Темя.

— Поручик Морозов! . . Поручик Морозов! . . — крикнул я. — Да идем же! . .

Подводы солдатских рот уже медленно двигались к юго-западу.

ГЛАВА О ВЫПАВШЕМ ИЗ СТРОЯ.

В цепи за колонией Фридрихсфельд мы лежали с раннего утра.

Было не по-осеннему жарко. Казалось, солнце ползет не по небу, — по самой спине. . . Оно заползало под гимнастерку, под фуражку. . .

— В самый мозг заползает, проклятое!

— Типун тебе! . . Еще, — подожди, — накличешь морозы! . . — сердито бросил мичману подпоручик Тяглов. — Молить нужно, чтоб держалась погода. . . А ты. . . В холода нам всегда не везет. . .

— Мне пить хочется, — а не твои, дурак, нотации слушать! . . Молчи ты! . .

Воды во флягах давно уже не было.

Цепь красных лежала за лощиной на кукурузном поле. Наша — на баштане. Мы лениво перестреливались. Но лишь стоило нам сделать попытку продвинуться, как пулеметная

трескотня яростно бросалась нам навстречу, и мы вновь падали, ругаясь в христа и бога.

Баштан перед нами был изрыт колесами подвод и пулеметных двуколок. Откуда-то с левого фланга ползла пыль. Пыль залезала в рот, — глубже! — в горло, а сухая, сорная трава, упрямо проросшая над кочками, жгла лицо и руки... Уже ни о чем, только: пить!.. пить!.. — не думалось.

— Ура! — крикнул вдруг полковник Лапков.

Но огонь красных, точно коса бегущую под ветром рожь, подрезал вскочившую на ноги цепь, и офицерская рота, сразу поредевшая, вновь залегла.

Хорошо, что я упал за бугорок. — Над бугорком, качая сухую траву, звенели пули...

— Дурак! Одну роту подымает!— ругался за мной поручик Пестряков.— Скорей бы Туркул пришел!.. Тут весь полк поднять нужно, — всем фронтом...

— Ясное дело!

— Конечно, ясное!..

— Господа, не критикуйте, не зная!.. Туркул в глубокий обход пошел. Никого подымать не нужно!.. Выждать...

...А солнце ползло и ползло.

— Чорт дери, патроны доставляют, а воду вот...

— Мичман, вы хуже солдафона!..

— Мичман!..

Мичман возле меня не унимался:

— Чорт дери!.. Уже не пить, — плюнуть хочется!.. И то нечем!..

Я приподнялся на локтях и выглянул из-за бугорка. Мне показалось: на горизонте ползет туча... Но небо было чисто, и лишь над степью колыхалась пыль. Стрельба учащалась.

— Чорт!.. — выругался я, и вдруг увидел шагах в десяти от бугорка зеленый в полоску арбуз, еще не тронутый колесами двуколок. На нем круглым пятном играло солнце.

«Вот это повезло!»... — подумал я, но вылезть из-за бугорка побоялся.

За бугорком, качая траву, звенели пули...

...Прошел час. Солнце в небе склонилось к западу. Сухим треском перекликались винтовки. Пулемет сшивал даль с пылью...

Я вновь приподнял голову и стал смотреть на арбуз.

И пока я думал, можно ли подползти и как подползти, и можно ли одеть арбуз на штык и как одеть, — какая-то пуля, стегнув землю, ударила о зеленый в полоску край арбуза.

И арбуз раскололся.

И по красной мякоти потек сок.

За соком, медленно переворачиваясь, покатились черные семечки...

Я не выдержал. Вылез из-за бугорка и пополз к арбузу...

...— Санитар!.. Санитар...— кричал за мной кто-то.

Я лежал лицом в траве, пытаясь зацепиться за что-либо пальцами правой руки. Но сухая трава рвалась под пальцами, и сдвинуться с места я не мог. Левая рука, плечо, голова и шея быстро немели.

— Санитар!.. Санитар!..

Кто-то схватил меня за сапоги. Потом выше,— под колени.

Когда меня оттягивали назад, с неба быстрой дугой падало солнце...

Вечерело.

Уже перевязанный, я лежал на подводе. Рядом со мной лежали какие-то солдаты. Солдаты стонали.

Надо мной стоял подпоручик Морозов.

Расположенная около перевязочного пункта офицерская рота пела «Журавушку».

— Ну прощай! Должно-быть, больше не увидимся... Счастливый!..— тихо говорил мне подпоручик Морозов.— А и здорово же тебя заквасило!.. В плечо, говоришь, потом выскочила и в шею?..

Мимо подводы проходили жители Фридрихсфельда, коренастые немцы, с глазами, спрятанными под брови. Пробежало несколько офицеров.

— Пленных ведут!.. Пленных!..— кричал, пробегая, капитан Темя.— И наловили же!.. Ну и Туркул!.. Ну и молодчага!.. Поручик!.. Поручик Горбик!..

— В ружье!— где-то скомандовал вдруг полковник Лапков.

Я инстинктивно дернулся вперед. Но вспомнив о ранении, улыбнулся.

— Становись!..— командовал полковник.

Но команда прошла надо мной, — мимо. . .

Я чувствовал себя выпавшим откуда-то, куда был я крепко ввинчен, и чувство это было радостным. . .

Подводчик задергал возжами. Поручик Пестряков, Аксаев, мичман Дегтярев, капитан Темя и подпоручик Тяглов, Горбик и Морозов быстро бежали через улицу.

— Морозов! Морозов!. . — еще раз крикнул я.

Но подпоручик Морозов стоял в строю. Он не мог оглянуться, — полковник Лапков скомандовал уже: «равняйсь! . .»

Через полчаса наши подводы медленно шли на Федоровку.

Ни с кем из офицеров 1-го Стрелкового имени генерала Дроздовского полка я больше не встречался.

* * *

Лазарет — не позиция. В лазарете много думаешь. . .

Ночь. . .

Ржавчина около гвоздей проела жесть кровли. Концы отставших листов грохотали и бились под ветром. А Глащуку, ефрейтору 2-го Конного, казалось: совсем близко, на Малаховом Кургане, бьет в тишину и ночь одинокая пушка.

Я дни и ночи лежал на одном боку. На правом. Дни и многие бессонные ночи видел пред собой только Глащука. Видя его каждый день, и каждый день с ним беседуя, — научился, наконец, отгадывать, о чем думает он, когда собирает морщинки вкруг вздернутого носа, и когда, вдруг, подымая брови, сразу же наполовину суживает лоб, и когда, улыбаясь, расплющивает губы вдоль усеянных веснушками щек.

Здесь, в Севастополе, четыре месяца тому назад Глащук лечил свою первую рану. И вот он ранен вторично. Привезен сюда же. Доктор — старый знакомый: — Ну и рана! — сказал он. — Здорово!

Бегая по разбитой руке, кровь Глащука стучала молоточком (я знаю, — у меня она стучала так же!) — слабо, но часто, часто: в плечо, в локоть. . . А пушка на Малаховом и гудела, и била, и ухала. — Раз! раз! . .

. . . «Военный хирургический госпиталь № 5» занимал целое здание. В рамах окна палаты № 8 прыгали стекла. По рамам бил ветер. Бобров, вахмистр Назаровского полка, второй сосед Глащука, рвал с себя одеяло. Кричал: «Эй,

казаки! Станишники! . .» Приподнявшись с постели, Глащук звал сестру. Видно, опять спросить думал: «Можно ли, сестрица, чтоб руки не срезали? Доктор говорит, что нельзя. . . А, может, можно? . .»

Но сестра к нему не подходила. В другом конце палаты умирал поручик Лебеда, — гвардеец.

Ветер вновь сорвался с крыш и ударил о рамы. Окно зазвенело. Глащук вздрогнул, а ветер метнулся дальше. На море. И еще дальше. За море. В ночь. . .

Стало тихо. . . Пушка умолкла, — отставшая жесть легла на кровлю мертвым парусом. На дворе, около ворот в лазаретную кухню залаяла собака.

Глащук съежился. Я знаю, он опять решил, на этот раз уже твердо: не даст доктору резать руку! Кому своим мясом собак кормить хочется!? Вчера ему вахмистр Бобров объяснял (а вахмистры, полагать надо, народ знающий!), что лазаретные доктора отрезанные конечности, — это руки и ноги солдат, значит, — в татарские деревни продают. Татары ими собак кормят. . .

— Эй, казаки! . . Станишники! . .

— Руку спасти нельзя, — сказал вчера Глащуку доктор, — ее нужно срезать. А то заражение пойдет дальше; дойдет до сердца. Тогда — смерть! . . — Без руки Глащука и домой, в Екатеринославскую пустят (об этом Глащук говорил со мной каждый день), — беспременно пустят. . . В полном здоровьи ему, конечно, — нет! — скажут. Коммуна там, а он 2-го Конного ефрейтор. Кадет, значит. . . Глащук решил: дам! . . Пусть режет руку!

— Эй, казаки! Станиш-ники-и! . . .

. . . Под утро ветер обогнул город и ушел куда-то на Бельбек.

На лбу поручика гвардейца золотой кокардою лежало пятно солнца. Поручик еще спал. В палате говорили: выживет! . . такие вот, худые да тощие, — они живучие. . .

Густая, золотая пыль широкими дорожками подымалась от одеял и стремилась к окнам. Глащук уже тоже проснулся, — ворочался. Он научился ворочаться одними ногами, не двигая ни плеч, ни груди, на которой держал туго забинтованную руку.

— Господин вахмистр! Господин вахмистр! .. — Видно, Глащуку вновь захотелось спросить насчет собак и деревень татарских. .. Может, неправда? ..

Но вахмистр не отозвался..

— Господин вахмистр! Господин вахмистр! ..—Вахмистр, очевидно, спал.

Глащуку, как тяжело больному, разрешили курить в постели. Потому Глащук курил даже и тогда, когда не хотелось. Он научился зажигать спички одной рукой, держа коробок ладонью и мизинцем, чиркая при этом большим и указательным. Когда спичка вспыхивала, коробок падал на одеяло.

— Автоматично! .. У меня приспособление, что пулемет, — автоматично! — повторял Глащук, забавляясь.

— ... Вас на перевязку... Вас... Тебя. Вас не надо еще... Подождете! — уже обходила койки сестра Людмила.

Потом, семеня длинными ногами в серых штанах, в палату вошел врач Азиков. Он остановился в дверях, как раз там, где, ударяясь о косяк, ломалась пробившаяся в палату полоса солнца.

Кивая нам головой, врач оправлял очки. Очки очень не шли его молодому, бритому лицу. Впрочем, врач обыкновенно носил пенснэ. Но перед обходом он снимал их. — «Солдаты не любят!»—думал он. Врач Азиков думал, вообще, очень много. Еще больше он разговаривал с офицерами. Чаще всего о своей клиентуре в Москве, которая — «ходит теперь, чорт знает, к каким врачам... По-ду-ма-ешь! ..» — Думал он еще и о русском народе, о роли интеллигенции и о ее заданиях. Офицерам он говорил, что понимает солдат и умеет с ними разговаривать. Очевидно потому, говоря, например, о нагноении, он начинал с яровых хлебов и кончал земельным законом генерала Врангеля.

— А, Глащук, здравствуй!

Доктор склонился над кроватью Глащука, тонкий и длинный, как удочка.

— Ничего, брат! .. Ничего! .. Думал я о тебе! .. Много думал! .. Дело твое вовсе не пропавшее! .. Снимем руку, да, брат, снимем, ничего не попишешь!

— Господин доктор! ..

— Но стоит ли, брат, из-за пустяков беспокоиться! .. Вернешься домой в Екатеринославскую... Теперь, при совре-

менных, брат, земледельческих орудиях и одной рукой крестьянствовать можно.

— Господин доктор! . .

Потолок надо мной вдруг плавно качнулся и побежал вверх голубыми полосами. В голубом небе загорелось солнце. По залитой солнцем дороге, качалась, уходя куда-то, нагруженная соломой арба. Высоко на арбе стоял Глащук. Правил одной рукой, туго намотав на нее возжи. . .

— Ну и слабость! — услыхал я далекий голос доктора, когда холодной рукой взял он меня за пульс.

Проснулся я в обеденное время. Два санитара возле кровати вахмистра ставили на пол носилки. Ворочали большое, желтое тело. Короткая пижама с красным крестиком на кармашке не прикрывала его живота. Живот был перевязан. На перевязке алело кровавое пятно, — круглое как пуп.

— Седьмой за ночь! — сказал санитар-пленный. — Бери его за ноги и поворачивай!

— До сердца дошло!

— Что это дошло? — спросил я.

— Да заражение. — И Глащук стал здоровый рукой щупать больную. Он подымался по руке все выше и выше. Ему казалось: боль ползет к сердцу. . .

— Пусть режет! — сказал он, вдруг оборачиваясь ко мне.

Прошло недели две.

В окно лил дождь. На стекле, сквозь мутные потоки, сочился осенний серый день. Возле окна стоял Глащук. Правый рукав его лиловой пижамы беспомощно болтался.

— Зацепить бы куда. . . Мешает!

Сестра Людмила обещала английскую булавку. Потом забыла. У нее было много дел: поручик Лебеда, гвардеец, поправлялся. . .

Когда Глащук двигал левой рукой, над правым его плечом, почему-то быстрее здоровой руки, подымался короткий обрубок, круглый, как банка из-под французских консервов.

— А ну, дай-ка устрою! . . — сказал новый сосед Глащука, молодой, кучерявый фейерверкер Попелюх, и перевязав рукав узлом, укоротил его вдвое.

И вот пустой рукав Глащука стал болтаться матерчатой куклой с крохотной головкой-узлом и в широкой, бледно-лиловой юбке со сборками.

— Ну как, Глащук? . .

— Ну что, Глащук? . . Поправляешься? . .

— Покорно благодарим! Поправляемся.

О комиссии еще не могло быть и речи, а Глащук уже поджидал ее. — Отпустят по чистой, — говорил он, подсаживаясь то на одну, то на другую койку. — Отпустят, и проберусь я, значит, через фронт да в свою Екатеринославскую. Насчет того, чтоб сомневаться, теперь уже никак невозможно! Инвалида пустят. . . У Деникина с Троцким соглашение имеется. . .

Прошло еще три дня. . .

Утром, когда раненые ждали первый чай, врач Азиков пробежал через палату, встревоженный. Ни над кем не остановившись, он долго беседовал со старшей сестрой. Потом сестра Людмила беседовала о чем-то с поручиком Лебедой. Глащук подслушал знакомое слово: «эвакуация».

— Поручик Лебеда! . . Поручик Лебеда! . . — кричал я, приподнявшись.

. . . — Мы, значит, в Красной армии тогда служили. Как наступал Юденич на Петроград, — рассказывал рядом со мной фейерверкеру Глащук, — в городе Петограде тоже тогда за эвакуацию говорилось. В Москву, это, во вторую столицу, значит. . . Ну и поедем мы тоже самое и сейчас во вторую столицу генерала Врангеля. В Симферополь-город или еще куда. . . Главное, чтоб комиссия, значит, во-время. . .

Я лег на спину, потом поднял голову и вновь сел на койку.

— Поручик Лебеда! . . Поручик Лебеда! . .

Но поручик Лебеда не подошел. Подошел штабс-капитан Рощин — марковец:

— Слыхали? . .

— Что случилось? . .

— Слыхали? . . Армия Буденного проскочила нам в тыл. . . Эта проклятая Каховка! . . Сейчас, по слухам, Буденный где-то около станции Салтово стягивается и прет прямым путем на Ново-Алексеевку. . . Понимаете? . . А связь с Джанкоем? . . А тыл нашей 2-й армии? . .

Вдруг он вскочил с моей койки.

— Поручик! .. Поручик Забелин! ..

Через 10 минут поручик Забелин, — тоже сводно-гвардеец, пошел в город.

У него были связи...

В ожидании поручика Забелина и новых известий мы сидели почти молча. Только юнкер Соловьев напевал как и всегда свою любимую песенку:

— Раз в ночных потьмах, —
мах, мах, —
Шел с монахиней монах,
нах, нах. . .

— Господа, узнал! — перебил его вечером вернувшийся из города поручик Забелин. — Наши части вышли из мешка. Положение, кажется, спасено... Господа, кто в карты? ..

— Мы еще повоюем, чорт возьми! — как сказал Тургенев! — Штабс-капитан Рощин подвинул к моей койке столик с шашками.

— Он завел такую речь,
речь, речь, —
Где бы нам с тобой лечь,
лечь, лечь —

уже опять запел юнкер Соловьев.

Прошла еще одна неделя. Об эвакуации перестали и говорить.

Но вот 29-го октября, уже к вечеру, когда серое небо тяжело ложилось на окна, всех трех сестер нашей палаты куда-то спешно вызвали.

— Списки! .. Представьте списки температурочных! .. — в коридоре около уборной кричал кому-то врач Азиков.

— В чем дело? ..

— Господа, что случиось? ..

Потом в палату вошел поручик Лебеда. Его сломанная в мундштуке папироса висела над нижней губой. Он нервно жевал мундштук, все глубже в рот забирая папиросу.

— Господа! .. Красные перешли Сиваш, сбили Фостикова с кубанцами и вошли в тыл Перекопской группе... Кутепов с Армянского Базара отходит на Юшунь...

— Поручик! ..

— А вы слыхали, поручик..?

— А Врангель?..

— А где Врангель?..

— Лебеда!..

— Поручик Лебеда!..

Я поднялся и тоже пошел к койке поручика Лебеды. Стуча костылями, меня обогнал юнкер Соловьев. Одна его нога, туго забинтованная, торчала за ним, как руль за лодкой. С другого конца палаты быстро шел подпоручик Кампфмейер, — танкового дивизиона, — с обожженным лицом, а потому сплошь перевязанным бинтами. Над бинтами торчали уши, — острые и густо покрытые волосами.

— Поручик, а Донской офицерский полк?.. — глухо из-под бинтов спросил он.

— Поручик, а не слыхали вы...

— Оши-ба-юсь?.. Я о-ши-ба-юсь?..

— Юшуньские укрепления!..

— Наша тяжелая артиллерия...

— Господа!

— Господа, Слащева теперь бы...

— Слащев...

— Уже, господа, поздно!

Мы быстро обернулись.

В дверях стоял врач Азиков.

— Только-что пришло сведение, — продолжал он. — Юшуньские укрепления прорваны. Враг уже в Крыму...

— Доктор... это... это проверено?..

И опять стало совсем тихо. Прошлепали чьи-то мягкие туфли.

— Господин доктор!.. Господин доктор!..

— Пшел к чорту с твоей комиссией!.. — крикнул на Глащука Азиков. — Господа! Господа, сегодня ночью мы грузимся на пароходы... Господа, за границей мы отдохнем... Господа, новые пути борьбы... Господа...

Я тихо отошел к своей койке и лег, уткнув в подушку лицо. Плечо мое ныло. Ныла и шея. Просачивающийся сквозь перевязку запах гноя кружил голову.

Пуля из шеи все еще не была вынута...

Всю ночь в темное окно хлестал дождь. За окном шумела Северная бухта. Кто-то на Понтонном мосту махал красным и зеленым фонариками.

Поручик Лебеда, штабс-капитан Рощин, юнкер Соловьев, поручик Забелин, подпоручик Кампфмейер, фейерверкер Попелюх, — кажется все, — собирали вещи. Глащук тоже снял наволоку с подушки, и запихивал в нее все, что имел — хлеб, штаны, ботинки, полотенце. . . Над его правым плечом прыгал круглый, короткий обрубок. Кукла под ним раскачивалась направо, налево: трепала широкую в этот день розовую юбку со сборками.

— Господа, а Глащук в Симферополь едет. . . На комиссию! . . — засмеялся юнкер Соловьев. Но никто не подхватил, и смех его сейчас же оборвался. . .

Санитарные автомобили пришли под утро, 30-го, когда только-что начало светать.

Мы грузились при полной тишине. Город еще спал. . . Казалось, о катастрофе еще никто ничего не ведает. . .

Большой, грузный транспорт «Ялта», точно буксир, тянул на тросах старую, негодную миноноску. «Ялта» то и дело меняла ход. Когда скорость ее увеличивалась, тросы натягивались и рвали ее назад; «Ялта» вздрагивала и скрипела. Когда же ход ее вновь замедлялся, узкий миноносец нагонял нас. «Сейчас, сейчас нагонит! . .» — казалось нам, — врежется острым, по прямой линии бегущим, носом, в высокую и грузную корму «Ялты». . . И расчленит ее, и рассечет надвое. . .

Мы вышли из рейда 30-го в 12 часов ночи, когда уже переполненный войсками и беженцами город и гудел, и качался за нами в красных языках пламени. Горели военные склады. Над зданием американского Красного Креста яростно носился бурый дым.

— Догорает, аль только зачинается?

— А не все ли равно? . . Эх! . .

— Севостополь! . . Россия! . . Прощай Россия! . . — звенел под ветром чей-то женский голос.

— Твою мать! . . Матери твоей! . . Твою мать! . . Матери! . . — ругался возле женщины рослый казак-калединец.

«Ялта» то и дело меняла ход. Гафель над кормой нырял в низком небе.

. . . Было холодно. Ветер бил о мачты сплошными полосами косого дождя. Я хотел спуститься в 4-й трюм, туда, где лежали раненые нашего лазарета. Но заглянув в трюм, глубокий, темный и холодный, как колодец, я вновь пошел вдоль палубы.

Частыми островками на палубе сидели кучки прикрытых брезентом солдат. Вода под ними стояла до уровня бимсов. По воде бежала черная рябь. . .

За трубой миноносца краснело небо. Севастополя уже не было видно. Он ушел в темноту, — под волны. Но красное небо в воде не тонуло. Оно скользило по волнам и бежало от горизонта до низкой, серой кормы миноноски.

Я повернулся, обошел несколько живых островков и пошел на нос «Ялты». На носу, прислонясь к борту, кто-то курил. Круглый, красный огонек папиросы мигал под дождем, как звездочка.

Меня тряс холод. Я сел на скрученные канаты и задумался. Но пуля в шее заставила меня вновь поднять голову. Как раз в это время мимо меня прошел Глащук. Я узнал его по пустому рукаву гимнастерки, который бился за ним, как черный дым над трубой «Ялты». Шинели у Глащука не было.

— Не попасть тебе в Екатеринославскую! — сказал Глащуку штабс-капитан Рощин, когда «Ялта» выходила из рейда. — Теперь уж не попасть! . . Не-ет! . . Потому море. . .

О чем думал Глащук? . .

Я думал о том, что вот, не верстами скоро, а днями будем считать мы расстояние от России. . .

. . . — Да, брат, не гадали! . . Не гадали, брат, не думали! . .—услыхал я с носа голос доктора Азикова. Доктор силился перекричать ветер. Голос у него был резкий и звенел надтреснуто.

Я повернул голову и, напрягая зрение, увидел его бритый подбородок, едва освещенный огоньком тревожно вспыхивающей папиросы. Над ней, в полной темноте, блестели два круга, — пенснэ.

— Да, брат Глащук! . . Таковы, брат Глащук. . .—И вдруг огонек папиросы быстро взлетел вверх. Я вскочил, но опять сразу же упал на колени. «Ялту» рвануло на дыбы. Она взбросила нос в грузное, низкое небо. . .

— Когда доктор падал за борт, его не было видно, — рассказывал около трюма штабс-капитан Рощин. — Казалось, — летит окурок... Быстро, быстро... И не вниз, а назад...

Из черного трюма неслись крики. Какая-то женщина рожала. Кто-то плакал. Кажется, сестра Людмила.

— Су-у-дить?.. Уж не мы ль с вами судить его будем!.. — вновь заговорил штабс-капитан. — Следствие?.. Бросьте, Лебеда!.. Наша песенка...

Набежал ветер.

«Ялту» качало и подбрасывало...

За нами и вокруг нас шли к югу серые корпуса длинноносых кораблей...

Над морем светало...

Германия. Фихтенгрунд.
Апрель — сентябрь 1925.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЧАСТЬ I

(июнь 1919 — ноябрь 1919).

ЧАСТЬ II

(ноябрь 1919 — март 1920).

ЧАСТЬ III

(апрель 1920—октябрь 1920).

1 р. 50 к.
р